

НАТАЛЬЯ ИРТЕНИНА

ШАПКА
МОНОМАХА



Всемирная история в романах

Наталья Иртенина

Шапка Мономаха

«ВЕЧЕ»

2015

Иртенина Н. В.

Шапка Мономаха / Н. В. Иртенина — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4444-7684-0

В последнее десятилетие XI века от Рождества Христова над Русью, особенно ее южными землями, нависла реальная угроза опустошения. Половецкая Степь, войдя в силу, всерьез занялась своим северным соседом, всегда привлекавшим ханов богатством городов и торжищ. Конечно, Русь была сильнее Степи, но давно уже погрязла в усобицах и мелкой грызне между многочисленными отпрысками великокняжеского рода Рюриковичей. Внук Ярослава Мудрого, князь Владимир, многожды уговаривал родичей, убеждал их объединиться и покончить с половецкой угрозой, но тщетно. И тогда Владимир Всеволодович Мономах решил сам доказать, кто хозяин на земле Русской!..

ISBN 978-5-4444-7684-0

© Иртенина Н. В., 2015

© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Часть I. Меч святого Бориса	6
1	7
2	10
3	14
4	19
5	22
6	26
7	30
8	33
9	36
10	40
11	45
12	49
13	53
14	57
15	60
16	64
17	68
18	72
19	75
20	79
21	82
22	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Наталья Иртенина

Шапка Мономаха

© Иртенина Н., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

*Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет, не хвалю
ведь я ни себя, ни дерзости своей, но хвалю Бога и прославляю милость
Его, ибо меня, грешного и худого, столько лет хранил от смертных
опасностей и не ленивым меня, дуриного, сотворил, но к любому делу
человеческому пригодным. Прочитав эту грамотку, поспешите на всякие
добрые дела, славя Бога со святыми Его...*

Из «Поучения» Владимира Мономаха

Часть I. Меч святого Бориса

Год 6586 от Сотворения мира, от Рождества Христова 1078-й.

Сеча перевалила на третий час. Старый киевский князь Изяслав Ярославич наблюдал с коня за своей дружиной. Посреди боевого порядка пешцов он терпеливо ждал, когда сломаются полки племянников, двух борзых изгоев во главе с Олегом, сыном Святослава. Больше месяца назад те вновь приволоклись на Русь с половецкой силой, взяли Чернигов, выгнали его брата Всеволода.

Киевские книжники говорили: кто проливает христианскую кровь, с того Бог взыщет за погубленные души. Книжникам князь верил простосердечно, как самому себе. И еще говорили: любовь превыше всего, а самая высшая та, когда кто свою душу положит за других. Изяслав, не раздумывая, сказал брату, потерпевшему обиду: «Сложу за тебя голову».

Дружина Всеволода билась на другом краю. Оттуда был гонец с вестью – один из зубастых племянников бесславно пал в бою. Изяслав кивнул: исход битвы и всей войны решен. Олегу в одиночку не выстоять против соединенной рати князей-братьев.

Никто не услышал всадника, проскакавшего позади пешего строя, не увидел руку, метнувшую в князя сулицу. Наконечник копья пробил доспех, вошел глубоко в спину. Пешцы, пораженные коварством врага, опомнились поздно – шелом убийцы сверкнул издали солнечным бликом и исчез в кипении боя. Хрипящего Изяслава подхватили, уложили боком наземь.

– Душу... за брата... – последним вздохом слетело с губ князя.

Проскакав насквозь ратное поле невредимым, лишь запачканным в чужой крови, убийца устремился через лес к стенам Чернигова. Город, где затворилась часть неприятельских дружин, брал приступом сын Всеволода, князь Владимир, по прозванию Мономах.

Вблизи княжьего стяга всадник крикнул на скаку:

– Изяслав погиб! Киевский стол будет твой, князь!

Лихим чертом он пронесся мимо и скрылся в гуще сражавшихся под стенами града. Владимир Всеволодич, ошалевши, не сознавая всего смысла брошенных ему слов, тщетно высматривал след кметя и пытался понять, кто он таков. Лицо дружинника, не понравившееся князю, было ему совсем незнакомо.

Возле перелеска, за которым стояло село Нежatina Нива, а чуть далее гудела главная сеча, всадник остановил коня. Жеребец испуганно ржал, бил копытами землю и норовил скинуть седока, встав на дыбы. Дружинник с силой обрушил кулак между ушей коня. Оглушенный ударом жеребец присмирел, стал как вкопанный, но в ужасе храпел и дрожал.

В горле у всадника пересохло. В овраге на краю леска журчал ручей, но спускаться к воде он не стал. Вместо этого задрал рукав и полоснул по запястью ножом. Подождал, когда рана набухнет кровью, жадно приник к ней губами. Пил долго, медленно высасывая теплую, со вкусом железа кровь. С каждым глотком жажда становилась сильнее, а тело начало слабеть. Пошатнувшись в седле, когда помутнело в глазах, он схватил правой рукой левую, с усилием убрал ото рта. Отдышавшись, провел ладонью по лицу. Уставился на порезанную руку.

– Что это было? – пробормотал он.

Потом оглянулся на далекие стены Чернигова, отыскал алый стяг Мономаха.

– Почему я убил не тебя?! – Во взоре всадника плеснула ненависть. – Но тебя погублю иначе. Когда-нибудь ты дашь ответ за то, что приказал пролить крови своего дяди. Ничего не пожалею, чтобы сыновья Изяслава поверили мне, а не тебе. Они отомстят...

1

Год 6601 от Сотворения мира, от Рождества Христова 1093-й.

Апрельская сырь пьянила голову радостью – скоро Пасха. Копыта коней месили дорожную грязь. Князь с боярами возвращался в Чернигов из монастыря на Болдиных горах, где стоял на службе, духовно беседовал и благословлялся. А мысли рвались уже вперед, за Пасху, когда снарядят лоды и ляжет по рекам путь в Новгород – на свадьбу старшего сына, первенца Мстислава, со свейской королевной.

Однако разговоры бояр тянут нынче совсем в иную сторону. Конь Мономаха прядает ушами, будто слушает и тоже недоволен.

– Летом снова ждать войны, князь.

Старый воевода Ивор Завидич в последний год заметно дряхлел – помногу ворчал, по бабьи высматривал приметы. Вот и теперь остановился у обочины лесной дороги, озабоченно взирал на кусты лещины.

– Орешник все не зацветает, а давно ему пора, – покачал он головой, трогая коня. – И дубы спозарань листья пустили, тоже диво. К войне это, князь, помяни мое слово, или я не Ивор и отец мой был не Завид.

– Полно тебе, старый ворчун, – усмехнулся Владимир Всеволодич. – Не хочешь, чтобы я плыл в Новгород, а плетешь ерунду. Половцы не воюют два лета подряд, а иных врагов, если объявятся, ты и без меня с кашей съешь. Да и то – откуда им взяться? Всеслав полоцкий который год из своей земли носа не кажет. Ляхов Василько Ростиславич так утеснил позапрошлым годом, что они еще не скоро вздохнут. Разве мордва или болгары захотят пощипать русские грады. Так на то в тех градах посадники сидят.

Воевода будто не слышал:

– В Киеве за зиму семь тысяч гробов продали, виданое ль дело? Чернигов полнится нищими, со всех сторон сползаются к тебе, князь. А случись осада, куда их денешь? Мор пуще пойдет, чем в Киеве.

– Что за осада тебе мерещится? – с досадой молвил Мономах.

Князь и сам был немолод. Прожил на земле четыре десятка лет, обзавелся морщинами на лбу и седыми нитями в кудрях, многими рубцами на теле и беспокойным нетерпеньем в душе. Но брюзжанье старого воеводы его тяготило.

– Воевода, как чада сопливые, наслушался на ночь дедовых сказок, – снасмешничал молодой Ольбер Ратиборич, заголив белые зубы.

– Борзости поубавь, отрок, – осадил его Ивор Завидич, даже не обернувши голову. – Что с убогими делать станешь, князь?

– Разве твоя это забота, а не моя и тысяцкого? – пожал плечами Владимир Всеволодич. – Велю тиунам кормить да поить, да в банях мыть. Судила, – князь обернулся, – завтра поедем к пристаням, погляжу, как снаряжают лоды в Новгород. Ни дня не позволю промедлить, ровно через седмицу отплывем. Невесту-варяжку поди уже привезли, не терпится глянуть на нее, ладной ли женой будет Мстиславу.

– Из варяжек ладных жен не выходит, – прямодушно брякнул Ивор Завидич.

Мономах лишь покосился на него – знал, в кого камень. Хотя и не была настоящей варяжкой его Гида, но лад в дому создать не сумела. Да и бабка, жена князя Ярослава Мудрого Ингигерда, варяжка из варяжек, славилась своенравием.

– В Новгороде свадьба, в Киеве похороны, – пробурчал Ольбер.

– Что? – повернулся к нему Владимир.

– Не о том твои мысли, князь, – ответил тот, прямо глядя в глаза Мономаху. – Киевские старшие бояре сердиты на твоего отца, Всеволода Ярославича. Только и ждут, когда болезни совсем его одолеют. Как бы киевский стол мимо тебя, князь, не ушел.

Ольбер отвел очи и укусил губу. Взгляд Мономаха стал как затупленный гвоздь, который крошит дерево, а вглубь не идет. Ольбер почувствовал себя тем деревом, ибо был слишком юн, чтобы ощущать себя чем-то более крепким.

– Отец еще жив, и выдирать из-под него стол не хочу. Лучше скажи, для чего он послал воеводу Ратибора в Новгород? Вот уж кому следовало остаться, – бросил Мономах Ивору Завидичу.

– Не знаю, – смутился Ольбер. – Отец не сказывал, зачем едет. А разве Всеволод Ярославич не может ответить на твой вопрос, князь?

– Мог бы – ответил. – Мономах ускакал вперед. – Но он не хочет.

Жеребец наострил уши, дернул головой и вдруг встал. Из леса, шумно раздирая кусты, под ноги коню выломился вепрь. Низко держа морду, зверь пронесся поперек дороги и врезался в заросли по другую сторону. Мономах удивленно смотрел ему вслед. Потом рассмеялся.

– А что, Ивор, лесная свинья в весеннем угаре тоже к войне?

– Не к хорошим хлебам уж точно, – хмуро высказался боярин Судислав.

Дружинники придержали коней, ожидая действий Владимира Всеволодича.

– Лучше нам вернуться, князь, – суеверно молвил Станила Тукович, – и проделать путь заново.

– Пустой разговор, – отмахнулся князь, понукая коня.

Новый треск кустов заставил всех обернуться. Вепрь скакнул на дорогу позади и с хрюканьем помчался наискось, прочь от людей. В руках у Ольбера стремительно явился лук. Почти не целясь, он пустил стрелу. Еще не зная, попадет ли та, Мономах рванул вслед зверю. Его раздосадовало суеверие бояр и раззадорили скачки глупого кабана.

– Я сам! – крикнул он, заслышав сзади топот дружинных коней.

Стрела ранила зверя ниже шеи. Кабан с визгом скрылся под пологом зеленеющего леса. Замедлив бег коня и оберегая голову от сучьев, князь пустил жеребца меж деревьев. Издали доносилось злобное хрюканье. Скоро конь перешел на шаг. Князь отводил хлесткие ветви рукой, вслушивался в звенящий по-весеннему лес. В серой прели, не успевшей стать новой травой, высматривал след.

Звуки раненого зверя стихли. Мономах понял, что вепрь затаился и выжидает. Он спрыгнул с коня, сорвал плащ, вынул из-за голенища нож с широким клинком. Однажды во время лова вепрь содрал с его пояса охотничий меч. Сейчас меча не было – кто же ездит в монастырь с мечом? Князь был наполовину незащищен против ярости зверя, однако не думал отступить. Пусть суеверные мужи убедятся, что свинья – это просто свинья, а не знак свыше.

Мономах медленно переступал, всматриваясь в полупрозрачный весенний подлесок. С отрочества его будоражило это чувство – предвкушение схватки с дикой и неразумной тварью, обороняющей свою жизнь. Борьбы, когда глаза человека близко смотрят через глаза зверя в звериную душу и постигают звериную ненависть. Хотя иногда это была не ненависть, а равнодушное принятие зла. Временами ему даже казалось, что хищные звери лучше многих людей понимают суть зла и потому ненавидят человека.

Он успел повернуться и принять удар спереди. Зверь перехитрил его. Падая навзничь, князь резко бросил руку к морде животного. Клинок погрузился в шею. Чуть дальше в туше торчала стрела Ольбера. Вепрь подмял под себя человека и нацелил клыки в горло. Упираясь в рукоять ножа, Мономах пытался отодвинуть вонючую морду, скинуть зверя наземь.

– Князь!

Зарезанного кабана стащили. Владимир был в крови, своей и звериной.

– Я цел, – выдохнул он.

Его подняли на ноги, он шатался, но был доволен. Левая рука оказалась распорота, сильно болело бедро.

– Оставьте тушу здесь. Еще не кончен пост.

– Пост не кончен, а ты уже начал ловы, князь, – весело похмыкивал Судила, одобрительно разглядывая вепря.

Владимиру накрепко затянули руку, помогли сесть в седло. Небыстро выехали к дороге. Прочие дружинники шумно встретили Мономаха, выслушали краткий рассказ.

– А где твоя гривна, князь?

Он посмотрел на грудь, где прежде всегда висел золотой оберег с Богородицею на одной стороне и змееной тварью на обратной.

– Видно, зверь сорвал, – огорчился Владимир Всеволодич. – Надо вернуться и поискать.

– Зачем искать, князь, – раздался тот же голос. – Знак это. Наденешь гривну великого князя.

Мономах окинул говорившего пристальным взглядом, но отчего-то не мог узнать. Зрение будто расплывалось, и вместо лица у дружинника была муть, как на стекле от дыхания. Потом муть растаяла, и князь узрел незнакомые глаза, темные, почти черные, будто совсем без радужки. Тревожно заржал конь под чужаком.

– Ты кто?

– Я? – удивился тот. – Я Ольбер, князь. Сын воеводы Ратибора.

Теперь Мономах и впрямь видел безбородое лицо отрока, дерзкий взор юнца, внука короля данов и русской княжны. Но тут же пришло в голову, что глаза, виденные перед тем, не столь уж ему незнакомы. Однажды он смотрел в них и длилось это чуть дольше, чем ныне. В битве на Нежатиной Ниве пятнадцать лет назад к нему подлетел на коне молодой ратник, прокричал: «Изяслав убит! Быть тебе на киевском столе, князь!» После пропал, а Владимир, оплакав со всеми погибшего Изяслава, долго искал странного кметя среди своих и отцовых дружинников, живых и мертвых, но так и не нашел. Зато понял, что значили те слова. По обычаю отцов и дедов, тот князь, чей отец умер, не сидевши на киевском столе, волею других князей не получал на Руси ничего – ни клочка земли. Если бы не Изяслав Ярославич, а младший Всеволод умер раньше брата, не видать бы Мономаху не только Киева, но и Чернигова. Пополнил бы число младших князей-изгоев, добывающих себе столы мечом, сговором и кровью. С вокняжением в Киеве отца Владимир встал в череду наследников, имеющих право на великий стол. Но ведь черед длинная и сколько ждать – один Бог ведает. Можно и вовсе не дожидаться. Однако с того времени Мономах твердо знал – он дождетя, чего бы то ни стоило.

Владимир Всеволодич пересилил себя, молвил, тронув коня:

– Велю тиуну прислать холопов, чтобы искали гривну.

– Гляди, князь, из Чернигова кто-то поспешает, – заметил Ивор Завидич. – Должно, вести срочные.

Владимир поскакал навстречу. Издали донесся взволнованный крик гонца:

– Князь Всеволод... при смерти.

Мономах, не обронив ни слова, помчался к городу.

2

Забава вприпрыжку, подбирая подола, взбежала по лестнице, ворвалась в горницу, где сидел отец. Плюхнулась на тяжелый ларь, крытый сарацинским ковром.

– Не хочу! Не хочу!

Топая по полу ногами в мягких сапожках, сердито глядела на родителя. Путята Вышатич оторвал взгляд от грамоты и беспокойно посмотрел на дочь. Девушка едва вошла в невестины годы, а уже кренделей выкидывает столько, что хватило б на целый выводок отроковиц. Даром что сирота, росла без матери. Скорей бы замуж выдать. И хорошо еще, Бог послал всего одну дочь. Туровский воевода вздохнул, сложил пергамен.

– Не хочу замуж за Антипу. И за Курмея не хочу! – надрывалась Забава. – Скажи, батюшка, мачехе, чтоб не страшала меня боярскими сынками. Не нужны они мне!

– А кто тебе нужен, Забавушка? Не за простолюдина же тебя, боярскую дочь, сватать.

Из глаз девушки брызнули слезы.

– Да что ж такое, батюшка!

Она стала срывать с висков золотые рясна тонкой работы, с которыми поутру носилась по хоромам, будто коза с колючкой под хвостом, – радовалась отцову подарку.

– Чем я хуже угринки, толстоносой Евдошки Ласловны, на которой женили княжича Ярослава? Тем, что ее дядька Геза напялил на себя корону, присланную из Византии?..

Рясна полетели на пол.

– Ты бы, девка, язык бы... того... – опешил Путята, но Забава в горячке не слышала отца.

– Или князьки дочки, Янка да Сбышка, лучше меня? У одной руки волосатые, а у другой зубы кривые! Их небось за князей да королей повыдадут? Да у меня, может, тоже... дед посадником в Новгороде был! И дядька Янь Вышатич в Киеве тысяцким служит!..

Забава поняла, что сравнение не в ее пользу, перевела дух.

– Ну вот что, девушка-красавица... – попытался быть строгим воевода.

– А разве князя не женятся на боярских дочках? – снова ринулась в бой Забава. – Ольга-княгиня кем прежде была – дочкой перевозчика из Плескова, а нынче аж святой почитается! Владимир-князь вовсе от холопки рожден! Иные же князя берут себе в жены немых половчанок, не брезгают, а у тех всего приданого – стадо вельблудов! Да потом их дочери с этими вельблудами за немецких королей замуж выходят!

Путята тоже не нравился нынешний брак германского императора Генриха с дочерью киевского князя Всеволода Ярославича. И без того у русских князей с латынскими правителями отношения запутанные, семейные, так еще масла в огонь добавили этой громкой свадьбой. Тому уже, правда, четыре года минуло, и слышно, будто старый Генрих не слишком доволен молодой женой. А вельблуды, на которых Евпраксия увезла свое приданое, верно, передохли давно.

– У меня же в приданом и злато, и серебро, и паволоки, и... и сапожки всякие... и посуда узорчатая... и перины пуховые... – Глаза у Забавы стали изумленно растерянными. – Ну и пусть, что не много всего! Жили бы мы, батюшка, в Киеве, а не в Турове, и тамошнему князю служили, всего бы у меня было вдоволь и в избытке!

– Это как же ты, лань быстроногая, собралась киевскому князю служить? – поднял брови Путята.

– Да ну как... – Забава закусила нижнюю губку, подумала. – А отдай меня замуж за князя, батюшка! Женой ему послужу!

– Эвон куда собралась! И где я тебе такого князя сыщу, чтоб на тебя позарился?

– Чего искать, – Забава гордо вскинула подбородок, – вон князь наш туровский, Святополк, без жены живет.

– Девки на ложе у него хватает, – проворчал Путята, скрывая оторопь, – тебе ли туда стремиться? Я тебе молодого, пригожего жениха найду. Только уж из бояр, не взыщи.

Отроковица примолкла, раздумывая. Потом состроила невинное личико, сложила руки на коленях.

– А правда ль, батюшка, что нашего Святополка на киевский стол не пустят, когда там старый князь помрет?

– Нечего тебе нос в это совать, – нахмурился боярин.

– Что будто бы его в поруб заточат, ежели он захочет в Киеве сесть? – нарочно не слушала отца Забава. – А кто же его не пустит и в темницу посадит, если наш Святополк после своего дядьки, старого Всеволода Ярославича, самый старший на Руси? Князь Мономах, пусть и храбрый воин, да все же младший из внуков Ярослава! Неужто киевские бояре такие злые? То-то князь Всеволод, говорят, уж сколько лет хворый от злости-то боярской.

Воевода сгорбился на лавке, словно пришибленный словами пятнадцатилетней девицы. И откуда набралась всего? Кого подслушивала? Оттаскать бы за волосы после этого, да нельзя – зарок дал пальцем не трогать сироту.

Боярин сам не заметил, как стал подыскивать слова для ответа:

– Всеволод хоть и хворый сколько лет, а нашел силы упечь нашего князя из Новгорода в Туров. Родного брата его, Ярополка, еще раньше убили... Из рода Святославичей на Руси один Давыд остался, но этот богомольник, ему киевский стол и не нужен... Всеслав полоцкий ослабел от войн. Так и выходит, что один Мономах всю власть над Русью возьмет... Но это еще как посмотреть!

Путята Вышатич распрямил спину, потряс грамотой в руке. Забава с любопытством глянула на пергамен, взмолилась:

– Посмотри, батюшка! Ты ведь так умеешь посмотреть, чтоб все стало как нужно. И князя надоумь, если сам не догадается! Не хочется мне всю жизнь прозябать туровской женой! В Киев хочу, батюшка! А может, с дядькой Янем столкуетесь?..

Воевода в недоумении глядел на дочь – пытался понять, отчего это он говорит о княжских делах с юницей, еще не так давно игравшей в куклы. Видно, глубоко в душе у него засели занозой те княжьи дела.

– Ну вот что. Брысь-ка, Забава Путятишна, в свою светелку, за пяльцы!

Девица покорно поднялась, кротко тупя глаза в пол. Кулачком закрыла смеющиеся уста.

Дверь горницы распахнулась, на пороге объявилась Анфимья, второпях поправляя убрус на голове.

– Путша! Князь к тебе! – Приметив Забаву, мачеха неласково велела: – А ну шасть отсюда!

Забава наскоро подобрала с пола рясна и шмыгнула в сенцы.

– Пояс подай, жена, – распорядился воевода, встав с лавки. – Да мечи на стол все, что в доме съестного есть.

...Туровский князь Святополк был последним из оставшихся в живых сыновей князя Изяслава, некогда княжившего в Киеве сразу после своего отца, великого кагана Ярослава по прозвищу Мудрый. По простоте душевной и незадачливости Изяслав дважды терял киевский стол и дважды на него возвращался. Во второй раз просидел на нем недолго, всего полгода. В кровавом споре русских князей, дядьев и племянников, нашел свою смерть от копья. Изяславу наследовал в Киеве младший брат Всеволод, у которого во все его княжение не ладилась отношения ни с одним из множества племянников. Молодняк показывал дяде зубы, временами снаряжал против него рати, но Всеволод в итоге управился со всеми. С заратившимися воевал руками своего сына, Владимира. Других посадил на окраинные уделы, третьих сама судьба уложила в сыру землю, а иным досталась чужбина. В конце концов со старшим из племянников, тихим и нехрабрым Святополком, киевский князь решил вовсе не щепетильничать –

прислал просьбу освободить новгородский стол для своего внука. Просьба была подкреплена дружиной всего в сотню воинов, но Святополк предпочел не спорить с Киевом.

Туровский князь задевал головой притолоки и растил долгую бороду, ниже груди, однако умом был прост, как и его отец. Советов же от других не любил и принимал лишь по нужде, когда сам не мог решить дела. Увидев князя в своем доме, Путята Вышатич быстро догадался, что приспела самая крайняя нужда.

Пока холопы ставили блюда и наполняли серебряные чарки некрепким медом, Святополк нетерпеливо двигал очами. Воевода отослал челядь и сам плотно притворил дверь.

– На тебе лица нет, князь.

– У меня не только лица, – Святополк наскоро хлебал мед, капая на рубаху с меховой опушкой, – сил моих больше нет! Со всех сторон одолевают, подзуживают... Спрячь меня от ляхов, Путята!

– Да ведь ты сам, князь...

– Знаю, что сам, – отмахнулся чаркой Святополк. – Сам в гости зазвал, сам их речи слушал, сам порубежные червенские города обещал отдать в обмен на помощь. Так это когда было! Когда думал уговориться со Всеволодом по-хорошему. Теперь же он помирать собрался, и вместо него сядет его сынок Мономах. А Володыше ляхами грозить – что псу кость показывать. За ляхов он меня вообще со свету сживет.

– У тебя есть дружина, – напомнил воевода. – И ляхи помогут.

– Не буду с Мономахом воевать! – покривился князь. – Еще не забыл, как он моего брата Ярополка погубил через подосланного убийцу.

– То не он, а волынские Ростиславичи, – осторожно заметил боярин.

– А Ростиславичей кто подговорил? – зычно спросил Святополк, наливая еще меду. – Уж верно, что он. Матерь мою пленил, в Киев забрал. А она-то... – В горле у князя булькнуло. – Умом на старости тронулась. Грамоты рассылает.

Святополк растегнул обручье, вынул из рукава свернутый в трубку пергамен.

– Прочти.

Путята Вышатич развернул грамоту, узрел знакомое начертание.

– Княгиня Гертруда пишет, что киевский Всеволод совсем плох... того и гляди отойдет.

– Далее читай. Пишет, чтоб я был наготове и по первому зову выступил на Киев с войском. По первому зову, – фыркнул Святополк. – Такую ж грамоту видел у ляхского воеводы Володыя. Немудрено, если и венгерский Ласло с польским Владиславом по пергамену от матушки получили.

– Немудрено, – сдержанно отозвался Путята. – Племянники все ж княгинины, родня.

– Она бы еще немецкому Генриху отписала – так, мол, и так! – Святополк ударил чаркой об стол. Посудина помялась и была отброшена.

– Генрих женат на сестре Мономаха, – сдержанно заметил боярин.

Князь страдальчески сморщился.

– Хоть ты не поминай об этом... Ведаешь ли, воевода, что створит со мной Мономах, коли дознается об этих грамотках? В поруб засунет и забудет. Как дед Ярослав своего брата Судислава – за одно лишь подозрение в сговоре с данами.

– Князь, – проникновенно сказал Путята, – а если... что если Мономах сам окажется в порубе?

Взор Святополка сделался неосмысленным.

– А кто его туда посадит?

Путята ответил не вдруг.

– Слышал ли ты, княже, чтоб чернь достала князя из поруба?

– Было такое, – все еще не понимал Святополк. – При моем отце в Киеве из ямы вынули полоцкого Всеслава и возвели на княжий стол.

- А чтоб дружина с чернью князя в поруб заточила – слышал о таком?
Святополк, казалось, каждым волосом в бороде внимал воеводе.
- Все когда-то случается впервые, – закрутился Путята, омочил горло пивом и достал спрятанное под поясом письмо княгини Гертруды.
Святополк Изяславич испустил гневный стон.

3

Одна из свечелок в княжбх хоробах новгородского Ярославова Дворища превращена в келью. К двери прибито распятие, на одной стене образа, возле другой узкая лавка, крытая войлоком, – ложе. В углу ларь с книгами.

Монахиня молилась, преклонив колени, перед чуть теплящейся лампадой. Ей было тридцать пять, но она считала жизнь прожитой. Если Господь до сих пор держит ее на земле, значит, душа не готова к другой жизни, со святыми, и надо об этом позаботиться. Еще надо употребить дарованное время на то, чтобы сладилась и обустроилась жизнь детей. Но сейчас только один из них живет рядом. Других она оставила с отцом, чтобы посвятить себя старшему, любимому сыну. Все прочие звали его Мстиславом, для нее он был только Харальд – в честь деда, короля англов, погибшего в битве при Гастингсе.

Его другой дед, киевский князь Всеволод, поступил неразумно и жестоко, отправив двенадцатилетнего отрока княжить в Новгород. Этот город слишком своеволен, буен и кичлив, чтобы его сумел подчинить себе мальчик. Да, на Руси, как и в иных странах, двенадцать лет – возраст, когда мальчик становится воином. Но для матери он еще ребенок. И отдать его на растерзание новгородским нравным боярам княгиня не могла. Напрасно муж напоминал, что Мстислав в Новгороде не один – за ним присматривают свои бояре, с кормильцем Ставром Гордятичем во главе. Через год после отъезда сына княгиня объявила мужу, что оставляет его и вообще уходит из мира. Что он волен взять себе другую жену. Она видела, как дрогнула у него при этих словах щека. Но больше Владимир Всеволодич ничем не выразил своих чувств. Проплакав ночь, наутро княгиня взошла в лодью. Вот уже четыре года она живет здесь и неслышно, втайне от всех, мечтает, что когда-нибудь, если Бог будет милостив, Харальд займет трон своих предков в Англии.

Ее отвлекло от молитвы шебуршанье за дверью. Княжий тиун сообщил о приезде госте. Монахиня со вздохом покинула келью. Харальд с невестой, боярами и двумя свейскими ярлами нынче отправились на прогулку окрест города, принять гостя некому.

Ей и в мысли не могло прийти, что это будет тот, кого она меньше всего хотела видеть.

– Ратибор!

Она прошла в палату и не велела холопу закрывать дверь.

– Гида. – Киевский воевода жадно оглядывал княгиню с головы до ног, отчего ей стало неприятно. Ратибор был поражен ее нынешним обликом – черной рясой и черным глухим убрсом до бровей.

– Это имя мне больше не принадлежит. Зови меня сестрой Анастасией. Мы ведь и вправду дальние брат и сестра, если ты не забыл.

Давным-давно Ратибор, сын короля Дании Свейна Ульвсона, провожал принцессу Гиду в страну городов Гардарику, как называли Русь его предки, чтобы там она стала женой русского конунга, одного из многих. Ратибор, сам русич по матери, но при том бастард, не имел никакой надежды наследовать отцу. Страной, которая могла дать ему славу воина и богатство, он выбрал Русь. Другой причиной, заставившей его остаться на Руси, была Гида, светловолосая фея туманной Англии.

– Что *он* с тобой сделал! – тихо проговорил Ратибор, садясь на скамью. Снял шапку с буйной нечесаной головы и меч с пояса.

Два холопа внесли в палату корчагу с вином и братину с квасом. Другие следом расставили на столе блюда с мятными лепешками, кусками холодного печеного мяса, сдобными заедками и греческими фруктами.

Монахиня стояла не двигаясь, пряча руки в складках рясы.

– Тебя прислал князь Всеволод? Как он живет?

– Все так же. Ласкает младшую дружину, речи бояр ни во что ставит.

– Это плохо, – повела она головой. – Младшие не должны стоять выше старших.

– Куда хуже, – усмехнулся Ратибор, хлебнул квасу из ковшика. – Но меня прислал не Всеволод. Я приехал сам.

– Он отпустил тебя в Новгород? – с тайным смыслом, понятным только им двоим, спросила княгиня.

– Ему теперь не до того. Князь вряд ли переживет эту весну.

– И ты оставил его...

– ...потому что не хочу служить Мономаху, – закончил Ратибор. – Я хочу остаться здесь, рядом с тобой, и служить при дворе князя Мстислава.

– Ты не останешься здесь, Ратибор.

Ее твердый, как кованая сталь, голос заставил воеводу подняться со скамьи.

– Ради меня – ты не останешься. – Теперь в ее словах была звенящая страсть. – Ты уедешь и будешь служить Мономаху, когда умрет Всеволод.

– Почему?

Он сделал шаг к ней. Княгине казалось, что он взглядом срывает с нее монашье одеяние.

– Ты никогда не любила Мономаха. – Он подошел ближе и добавил тише: – Ты все еще любишь меня. Поэтому?

Анастасия отшатнулась. Ратибора влекло к ней с неодолимой силой, но вдруг он споткнулся о ее взгляд. В нем была жалость, какую часто увидишь в глазах девок и женок на Руси и легко спутаешь с любовным томленьем. Но сейчас воевода ни с чем бы ее не спутал.

– Тобой водит бес, – с жалостью сказала инокиня. – Как можешь ты испытывать страсть к старухе в монашье рясе?

Ратибор с понурой головой вернулся к скамье.

– Ты не старуха.

– У меня восьмеро детей.

– Почему ты хочешь, чтобы я служил Мономаху?

– Ты не станешь льстить ему, – не раздумывая, ответила она, – ведь ты ненавидишь его. А навредить не сможешь ему, потому что он не будет тебе доверять. Он никому не доверяет, ни холопу, ни тиуну, ни биричу, ни воеводе. Сам за всех все делает, себя никогда не покоит. Ни на войне, ни на охоте, ни в своем доме без своего пригляда ничего не оставляет. В этом его сила. И даже себе он не доверяет, но всегда хочет знать от других, верно ли поступает и что о нем думают. Ему нужно знать даже мнение черни о нем. В этом его слабость...

Ратибор слушал внимательно. Он чувствовал, что она никому и никогда не говорила этого, а теперь будто заплот на реке прорвало.

– ...потому что у него одна цель и одно желание – стать великим князем на Руси...

– Я знаю это, – с брезгливой улыбкой уронил воевода.

– ...Он хочет сделать в ней все по-своему, в подобие Византии, ведь его мать – византийка, дочь императора. Это желание ставит его в зависимость от всех – дружины, епископов, монахов, градских людей. Ведь по закону русскому он должен пропустить вперед старших братьев. А годы его уходят.

Княгиня отступила к лавке у стены, подалее от воеводы, и присела на край.

– Я полюбила его за это странное соединенье силы и слабости. Да, я люблю Мономаха, а не тебя, Ратибор. Ведь у тебя нет никакой слабости – ты как скала во фьордах Норвегии.

– Почему же ты ушла от него? Зачем облачилась в эти уродливые одежды?

– Потому что он никогда не любил меня. Но это не его вина, а моя. И тебе ведома причина.

– Да, ведома, – со злорадством сказал Ратибор. – Она в том, что...

– Будь осторожен, воевода, – предостерегла княгиня. – Дверь отверста... ибо не следует монахине оставаться наедине с мужем.

– Продолжай, – попросил он и вымученно, с усмешкой добавил: – сестра. Ведь ты не закончила.

Инокня колебалась.

– Мой отец погиб, не одолев страстного желания быть королем, слабость победила его. Мономаху следует победить свое желание стать великим князем. Для этого он должен испытать бесконечное одиночество, когда все оставят его. Одиночество Христа на кресте... Тогда слабость станет силой. Тогда Господь даст ему киевский стол.

– Тогда ты разлюбишь его – когда он перестанет быть слабым?

– Полюблю еще сильнее. Если доживу до того.

Анастасия встала.

– Уезжай, Ратибор. Тебе здесь не место.

– Я хочу остаться на свадьбу моего сына, – сказал он, не двигаясь и пристально глядя на нее.

Лицо княгини осталось бесстрастным. Ответить ей помешал внезапный шум в сенях. Со двора также донеслись тревожные крики.

– Что там? – возвысила голос Анастасия.

В палату сунулся бледный, как смерть, тиун.

– Матушка-княгиня... там... привезли... князя привезли... мертвого.

Монахиня, оттолкнув его, бросилась во двор. Ратибор вскочил.

– Все кишки наружу, – растерянно моргнул тиун.

Воевода с силой ткнул его кулаком в грудь и ринулся вон.

На дворе толпилась тьма людей и холопов, бестолково метавшихся, что-то кому-то оравших, бессмысленно тарачившихся. Звучала свейская речь, ржали кони, жалостно и пока негромко подвывали бабы. Анастасия с закаменевшим лицом расталкивала двумя руками всех мешавших ей. Наконец остановилась. Коней не успели увести, возле них на голой земле лежали носилки из двух жердин и дружинного мятля. Другой плащ до шеи прикрывал тело князя-отрока. В середине, над чревом, мятель густо пропитала кровь.

Княгиня упала на колени у изголовья носилок, дрожащей рукой коснулась белого лба сына.

– Он еще дышит, – услышала она голос и подняла голову. Над ней стоял кормилец Мстислава, Ставр Гордятич, без шапки, в собольей свите, перемазанной кровью.

Он помог княгине подняться. Руки у нее больше не дрожали и голос был тверд:

– Несите князя в изложню. Как это случилось? – не оборачиваясь, спросила она Ставра. Мельком заметила, как пытаются привести в чувство Христину, невесту Мстислава, растирая ей щеки винным уксусом.

Пока Мстислава уносили в хоромы, Ставр Гордятич торопливо и сбивчиво рассказывал. У Мячина озера князь с невестой ускакали вперед всех прочих. Ставр послал к ним двух дружинников, но не велел торчать на виду, чтобы не мешать. Свейские ярлы увлеклись тем временем стрельбой по журавлям, коих на озере объявилась весной тьма. Немного времени спустя кормилец направил коня к перелеску, где укрылись молодые. Не успев доехать, услышал медвежий рев и девичий взвизг. Когда вылетел на большую елань, увидел, как Мстислав с топором идет на медведя, вздыбленного на задние лапы. Кмети ждали с натянутыми луками.

– Перед девкой хотел покрасоваться, – тяжело выдохнул Ставр, – запретил отрокам стрелять.

Мстислав поднял топор, но никто не ожидал от медведя внезапной прыти. Он вдруг опустился на четыре лапы и прыгнул. Удар топора пришелся по воздуху, а когти зверя вспороли князю живот. Сейчас же в морду медведя полетели стрелы, Ставр добил его мечом.

– Это все оттого, что князь захотел непременно показать девке Перынь, идольское капище. Не следовало того делать. Я отговаривал, да разве ж... Прости, княгиня, Христом Богом молю, прости. Не углядел за твоим чадом.

– Ты, видно, Ставр, тоже хотел покрасоваться перед невестой князя, не ударить лицом в грязь, – без всякого выражения произнесла монахиня. – Потому позволил отроку одному идти против медведя. Не оттолкнул его, не встал сам перед зверем.

– Да я ж...

Тело князя переложили на постель, сняли мятель. Княгиня пошатнулась, увидев багровое месиво из кишок поверх разодранной рубахи, Ставр Гордятич поддержал ее. Пока холопы и два лекаря срезали с Мстислава одежду, Анастасия велела прочим, набившимся в изложню:

– Все вон отсюда. – Затем ключнику: – Горячей воды поболее, полотна, железо для прижигания и священника. – Напоследок холодно обратилась к Ставру: – О тебе после поговорим. Сейчас ступай к ярлам Торкилю и Бьёрну, успокой их и скажи, что свадебный договор остается в силе. Дочь короля свеев будет женой русского конунга.

Ставр смотрел на нее полубезумными глазами.

– Мстислав не выживет...

– Если он умрет, она выйдет замуж за Изяслава, – отчеканила княгиня. – Слава богу, у меня пятеро сыновей!

Последним у дверей изложни оставался киевский воевода, неподвижный, как столп в храме.

– Я должен видеть, как умрет мой сын.

Анастасия уперла ладонь ему в грудь и гневно толкнула.

– Харальд не твой сын! – неслышно для других проговорила она. – Эта кровь, что на нем, – кровь Мономаха.

Ратибор посмотрел на вспученное нутро князя, словно хотел найти подтверждение или опровержение ее слов. Не сумев ничего ответить, резко повернулся и ушел.

Лекари вправили Мстиславу внутренности, сшили края раны, прижгли раскаленным железом и наложили повязку, пропитанную медом. Но никто не ручался за его жизнь. Священник мазал князя церковным елеем. Был новгородский епископ Герман, обещал молиться денно и ночью, уехал в печали. К сумеркам княгиня осталась с сыном одна. Без сил пала на колени перед иконой целителя Пантелеймона, которую велела принесли из своей кельи. С утра у нее не было ни крошки во рту, подкреплялась лишь глотками воды с разведенным медом. Великая Среда – начало страстей Господних. Но и без того помыслов о брашне не было. Все мысли, весь страх, вся усталость ушли в непрестанную мольбу, раскаляя ее до угольного жара.

Незадолго до рассвета инокиня опустила на пол и забылась глубоким сном.

Проснулась оттого, что в груди толкнулось сердце. В тусклом свете лампы у постели сына она увидела человека, приподнялась, опершись рукой об пол. Незнакомец обернулся на шорох.

– Не бойся, я лекарь, – произнес он, отчего на душе у монахини сразу стало покойно и легко. Одет он был на греческий лад в длинную рубаху-далматику и плащ с застежкой на плече.

Княгиня вновь встала на одеревеневшие колени и продолжила молитву. Лишь несколько раз глянула мельком, что делает чужестранный лекарь. Но ничего особенного не увидела. Он снял повязку, осмотрел рану и чем-то смазал. Потом накрыл князя простыней и тихо покинул изложню.

Лишь только дверь за ним закрылась, инокиню вновь сморил короткий сон. С рассветом она пробудилась. Оправила на себе одежду, постояла у ложа сына и вышла в теремные сени.

Вернулась нескоро. У дверей княжьей изложни ждал церковный чтец с толстым требником в руках. Монахиня объявила ему, чтобы шел восвояси – князь Мстислав не нуждается в чтении отходной. Войдя внутрь, она обнаружила Ратибора, стоявшего у постели.

– Он похож на меня.

– Это родовые черты, – возразила она. – У тебя и у него общий предок – великий конунг Владимир.

– Значит, Мономах отнял у меня не только женщину, но и сына, – горько произнес Ратибор. – Но мне все равно жаль, что мальчик умрет.

– Он не умрет.

– Ты обманываешь себя, Гида.

Неожиданно для обоих Мстислав открыл глаза.

– Дядька Ратибор? – чуть улыбнулся он и перевел взгляд на мать. – Матушка, кто меня исцелил? Я видел во сне отрока, в тех же летах, что и я. Он обещал, что вылечит меня.

Монахиня взяла с полницы икону святого Пантелеймона и показала сыну.

– Его ты видел?

– Его, матушка, – обрадованно молвил Мстислав.

– Вы оба... – выдавил Ратибор, – верите в то, что говорите? Ты обезумела от горя, Гида, а у князя началась предсмертная горячка.

– Я тоже видела его. Здесь. Потом он ушел, но никто более в доме не встретил его, никто во дворе не отпирал для него ворот. Я расспросила гридей, тиуна и ключника, и прочих холопов.

– Я не верю в эти сказки. Если он исцелен, то...

Ратибор рывком откинул покрывало и задрал рубаху Мстислава. На обнаженном животе едва темнел тонкий рубец от раны, от вида которой накануне стошнило холопа. Кожа вокруг была белая, чистая, не осталось и следов прижигания.

Едва разглядев все это, княгиня отвернулась – не подобает монахини созерцать мужское естество, пускай и сыновнее.

– Прости, матушка, – повинился за воеводу князь. – Ратибор не подумал, что делает... Матушка, – позвал он миг спустя, – отрок-целитель сказал мне еще кое-что... Отец не придет в Новгород.

Мстислав помедлил.

– Вчера в Киеве умер великий князь Всеволод.

4

Во дворе ярославского посадника каждый день толчея. С конца зимы в Ярославль тянулись длинные обозы с мехами, кожами, рыбьим зубом, медом, воском, холстиной и иным добром – данью окрестных земель и племен. Тиуны-емцы отчитывались перед посадником, пересчитывали не по разу, часть сгружали здесь, остальное в амбарах у пристаней. Пришлые князьки даньщики, отроки, дворовая чадь, парубки, холопы, сельские смерды, взятые в повоз, – день-деньской все орут, бранятся, горланят песни, хохочут. Тут же глазают на сутолоку мальцы, колупают в носах, бегают с поручениями, слушают байки княжьих дружинников. Скоро собранное добро погрузят в лоды и поплывут в низовские земли, радовать князя.

Посадничьи амбары забиты под самые застрехи – своя доля житниц не ломит. Лишь одна малая клеть стоит посреди прочих пустая. В нее никогда не заглядывает ни тиун, ни ключник, ни посадник, ни жена посадника. Уже никто на дворе не помнит, когда в ней водворился обитатель – было это при прошлом посаднике. А когда того сменил нынешний, выдворять жильца из амбара было поздно – никто бы не решился взвалить это дело на себя. Да никому он и не доставлял забот. На дворе его видели редко, слышали еще реже. Зато польза от него была немалая – никто с охоты не приносил столько мяса и шкур и никто так дешево не ценил свою добычу. За все, что он приносил из леса, просил немногого – три горшка каши в день, горшок мясной похлебки, два карава хлеба да большой жбан кваса. За много лет свыклись с ним, считали вроде дворовой животины, иногда обращались с лаской, чаще – с плеваньем и пустыми угрозами выгнать со двора.

Звали его Добрыня. Более неподходящего имени это существо получить не могло. И за это тоже на него плевались, а прежнего посадника, который дал ему прозвание, поминали с усмешкой и с верчением пальца у головы. Во дворе его чаще кликали Медведем.

Добрыня был велик телесами, в плечах широк по-бычьему, голова насажена на шею низко. Густые золотистые волосы росли на нем почти всюду, кроме носа, похожего на грушу, и небольшого лба, снизу вверх прорезанного бороздой. Глаза под мохнатыми, нависающими бровями смотрели на людей тяжело и обычно вопросительно. Космы на голове он чесал редко и лишь пятерней, борода являла собой вовсе непроходимые заросли. Кто видел Добрыню в первый раз, шарахался с испугу.

...В дверь клетки глухо ударило раз, другой. Бросали не камнями, а комьями сырой земли. Следующий ком залепил окошко из бычьего пузыря.

– Эй, Медведь, просыпайся от спячки! – кричали на дворе мальчишки.

– Хватит сосать лапу, весна уже!

Детей Добрыня не любил. Побаивался. Шустрые мальцы и отроцата проявляли к нему неодолимое любопытство, будто им делать больше нечего, кроме как злить его и смотреть потом, что из того выйдет. Всякий раз ожидали от него ярого медвежьего рева и звериного буйства. Хохотали, когда оправдывал их надежды, а когда терпел и отсиживался в клетки, донимали, как лесной гнус.

– Эй, ведьмино отродье, глянь-ка, за тобой пришел лесной хозяин, батя твой!

– Медведь тебя заберет сейчас, выходи!

– Заберет к себе в берлогу, будешь там ему пятки чесать, ха-ха-ха.

Огольцы заливались смехом, забрасывая клеть липкой грязью. Кто-то из парубков постарше стал взрыкивать по-медвежьи.

Дверка амбара едва не слетела с петель. Низко нагнувшись, Добрыня выпростался из клетки. В руке держал шило, которым дырявил кусок кожи – мастерил себе поршни.

Мальцов и парубков в тот же миг сдернуло с места, девки завизжали, младенец на руках бабы-холопки пустился в рев.

Добрыня, ощерив зубы, повертел по сторонам головой, глянул в небо, почесал шилом в космах. Вдруг заметил прямо перед собой ребятенка в рваной свитке и одноухой шапке.

– А тебя правда медведь родил?

Порты мальчика заметно набухали сыростью.

– Правда, – ответил Добрыня и тихонько рыкнул.

Ребяенок зажмурился и заорал, стоя на месте.

Добрыня закинул шило в клеть, поднял дите за шиворот и понес к челядне. Держал руку на отлете, чтоб не замочиться.

Гневные бабы отобрали дитяню на полпути, обозвали Добрыню лешаком и волосатиком.

– Чего людей пугаешь? – раздалось сердито.

Перед Добрыней невесть откуда вырос поп, часто ходивший к посаднику попить квасу и поговорить о просвещении язычников. Ростом поп едва доходил Медведю до плеча.

– Дразнятся, – сумрачно прозвучало в ответ.

– Шкура у тебя разве тонка, волдыри вскочат от ребячьих дразнилок? – осведомился поп.

Добрыня невнятно пропыхтел под нос.

– Окрестить бы тебя, – со вздохом помечтал иерей.

– Зачем?

– В человечье подобие привести. А то живешь в дикости, – назидал поп. – Вон ты зверюга какая... – Он осторожно потрогал пальцем плечо Добрыни. – А все ж не бессловесная тварь.

– Старый посадник не велел меня крестить, – угрюмо отозвался Медведь.

Он обошел попа стороной и направился к своему жилу.

– И то, – согласился батюшка. – Крестишь тебя, а ты в лес убежишь.

Добрыня вернулся.

– Чего? – навис над попом.

– Это я так, ничего, – немного струхнул тот. – Правду ль говорят, что тебя прошлой зимой звал с собой волховник? Тот, которого потом убили в Ростове?

– Ну звал.

– Что ж не пошел?

Добрыня задумался, поскреб в бороде.

– Велесовыми знаками страдал, – сказал он про волхва, – а сам шкуру медведя на торгу купил. – Он подумал еще. – Ты вот что, поп. Грамоте меня обучи.

Батюшка воззрился почти в испуге.

– Это пошто? Для чего тебе грамота, коли ты в язычестве коснеть желаешь?

– Волхвы сказывают, грамота – поповское колдовство. Кто ею владеет – от того боги отворачиваются.

Поп размыслил, пустив в движение морщины на лбу.

– Ну что ж, дело Божье. Приходи завтра к церкви. Только не зазорно тебе будет с мальыми ребятами сидеть? Задразнят.

– Стерплю, – отрубил Добрыня. – Вот еще что скажи. Киев – где?

– Там. – Батюшка прицельно махнул дланью.

– Долго идти?

– На коне месяца три. Да зачем тебе Киев?

– Тамошний князь медведя зарубил, когда ставил тут город.

– А-а, – догадался поп, – то князь Ярослав был, по прозванию Мудрый. Да он помер уже, лет тридцать-сорок тому.

– А теперь кто в Киеве сидит? – обеспокоился Добрыня.

– Нынче Русью правит князь Всеволод Ярославич.

– Сын того Ярослава?

– Ну, сын. А тебе что с этого? – выпытывал поп то ли из праздного любопытства, то ли хотел еще некое назидание сказать.

– Здешние волхвы прокляли род того Ярослава.

Добрыня умолк, будто все понятно объяснил. Поп тут же вставил назидание:

– Им же самим от их проклятья перепадает. Сам князь Ярослав их казнил за мятеж, а после, лет двадцать назад, княжий даньщик Янь Вышатич снова предал их казни за мятеж. Да ты зачем о том пытаешь меня? – спохватился батюшка.

– Если я стану служить тому Ярославову роду, боги от меня вернее отвернутся.

Добрыня устал от непривычно долгого разговора, поглядел опять на небо и пошел в свой амбар.

– Ну так приходи завтра. Аз, буки покажу! – прокричал вслед поп. Тоже посмотрел в небо и сказал самому себе: – Авось через грамоту узрит Христа. Все в воле Божьей... И откуда такие зверюжины на Руси рождаются? Дает же Господь силушку.

Покачав головой, поп поспешил в хоромы. Хотел поскорее поделиться с посадником вестью, что зверообразное создание, живущее на его дворе, пожелало просветиться светом Христовым. Притом безо всяких к тому усердий с его, недостойного иерея, стороны. Не чудо ли Божье явлено?

5

Печалиться на Пасху – тяжкое испытанье. После стольких седмиц пустаго дня и завыванья в брюхе, долгих молитв в церкви, скучного безделья – ни ловов, ни пиров с дружиной, ни забав скоморошских и иных – вдруг оказаться не веселым, пьяным и сытым, а более прежнего унылым! Ибо что, кроме тоски, может быть на сердце, когда вместо безудержного, рекой катящего пиროванья нужно сидеть на княжьем совете с боярами, глядеть на все еще постные рожи киевских мужей и переживать за старшего брата, князя Владимира. Вот уж кого совсем не волнует и не печалит мысль, что нескоро еще придется отведать на буйном пиру разных мяс и рыб, пирогов, грецких вин и медов. Мономах к насыщению тела яствами и очей весельем всегда равнодушен. И это делало его в глазах младшего брата, переяславского князя Ростислава, едва ль не ущербным. Но еще больший ущерб, мрачно рассуждал Ростислав, брат причинял себе, каждый день отправляясь в Софийский собор вовсе не для того, чтоб прилюдно надеть там шапку великого князя с золотым крестом в камнях на макушке, а чтоб только припасть на колених ко гробу отца и выслушать утешение от попов. И ладно бы не хотел возглашать себя киевским князем до Воскресенья Господня. Но вот уж другой день Пасхи идет к концу, а Владимир затеял советоваться с боярами! Будто бы прежде князья на Руси советовались с кем, садясь на княженье.

Ростислав с неприязнью смотрел на киевского боярина Ивана Козарьича, крещеного хазарина. Тот выступал на совете зачинщиком, прочие отцовы мужи более молчали в бороды и кивали, то согласно, то вразнобой.

– Рассуди сам, княже, – степенно говорил Иван Козарьич, – надлежит нам исполнить всякую правду. Так и в Писании сказано. Правда же русская в том, чтоб каждый князь по старшинству получал стол. Сын после отца, старший брат после младшего, племянник после дяди. И мудрый князь Ярослав своим сыновьям завет дал на смертном одре – в любви жить, а не в распрях, старшего брата как отца слушаться, не переступать пределов других братьев, не изгонять их, не обижать. Ты же, княже, хочешь крепко обидеть своего брата, туровского Святополка, раньше него сесть на киевский стол. Он от старшего Ярославича рожден, ты – от младшего, и годами он старше тебя. Ты, Владимир Всеволодич, и умом богат, и добродетельми известен, как и отец твой, ублажи Господь его душу в святых селениях. – Бояре недружно осенились крестом. – Сам реши, какая тут правда.

– Чернь по торгам который день волнуется, тоже хочет правду исполнить, – будто с насмешкой, молвил Наслав Коснячич.

Ростислав пригляделся к этому мужу с любопытством. Боярин средних лет был сыном давнишнего киевского тысяцкого, служившего еще при князе Изяславе, отце туровского Святополка. Места тысяцкого он лишился как раз из-за черни, взбунтовавшейся тогда против Изяслава. Вряд ли про ту чернь боярин сказал бы, что она исполнила правду. Ростислав вдруг испытал неприятное чувство: неспроста киевские мужи заговорили о черни. Он перевел взгляд на брата – держит ли тот ухо остро? Но Мономах казался совершенно окаменевшим на своем кресле, ни на кого не смотрел и вряд ли что видел перед собой.

– А отчего волнуется чернь? – спросил Ростиславов кормилец, старый дядька Душило. До сих пор он не проронил ни слова и в совете не участвовал, сидел, будто спал, и на тебе – проснулся.

Ростислав поглядел на него недовольно и со вздохом в душе. Хотя и любил своего дядьку, мужа великих размеров и славного храбра, но сносил с трудом, когда тот вел себя, будто дите – брякал невпопад, любопытничал или бахвалился так неправдоподобно, что все вокруг падали со смеху, и при том заверял, что ничуть не прибавляет.

Киевские бояре отвечать не стали. Сделали вид, будто оглохли. Или что переяславским мужам не следует задавать столь невежественные вопросы.

– Так вы, мужи бояре, не желаете видеть меня на отцовом столе?

Внезапно раздавшийся голос Мономаха как будто застал бояр врасплох. Они тревожно зашевелились на скамьях, переглядываясь друг с дружкой и отводя взгляды от князя. Только Иван Козарыч казался довольным, что князь понял их, да тысяцкий Янь Вышатич хмурился в одиночку. Он же и решил дать ответ Мономаху.

– Чтобы сидеть на киевском столе, тебе, князь, придется убить своего брата Святополка или заточить его, или изгнать с Руси. Выбери, что тебе ближе.

Киевский тысяцкий был так ветх годами, что никто не оспаривал его права рубить сплеча. Янь Вышатич приближался к восьмому десятку, волосы и бороду ему выбелило так основательно, что оседавшие на ней зимой снежинки казались серыми. Лишь на князя Всеволода эта честная седина не имела действия, и лежа на одре болезней, он не верил тысяцкому так же, как прочим своим боярам.

– Как смеешь ты, боярин... – вспыхнул тут же гневом Ростислав, вскочивши с места.

– Сядь, брат, – устало сказал Мономах. – Не кричи. А ты, Янь Вышатич... Неужто иначе никак? – с тоской спросил он.

– Никак, князь.

Бояре расходились из думной палаты в молчании. Владимир Всеволодич подошел к окну, засмотрелся на площадь, куда выходили князьи терема. Быть может, думал о том, как взбурлила бунтующей чернью эта площадь, Бабин торг, четверть столетия назад, когда изгоняли неугодного князя Изяслава. Тот бунт Мономах видел собственными глазами и бежал от него вместе с отцом и дядей прочь из Киева. А может быть, его думы были о том, что отец видел в нем своего преемника на великом княжении – самовластца Русской земли, как любил говаривать Всеволод, князя всея Руси, как отгиснуто на отцовой печати. Или о том, что Всеволоду надо было ладить со своей старшей дружиной, тогда и не пытался бы сейчас его сын оправдываться перед ними, и сами княжи мужи с охотой посадили бы его на киевский стол, а о захолустном Святополке не вспомнили бы. Кто для них Святополк – неудачливый князь, сын неудачливого отца, дважды изгнанного из Киева. И кто перед ним Мономах – воин, полководец, совершивший не один десяток походов, почти соправитель Всеволода. Чьими руками Всеволод воевал с алчным полоцким Всеславом Чародеем, и с ненасытными половецкими ханами, и с немирными вятичами, и с младшими князьями, его племянниками, желавшими большего, чем имели? Эти руки принадлежали Мономаху, и ими исполнялась всякая правда. Теперь же, выходит, та правда более не нужна... Или ее лучше Мономаха исполнит другой? В душе у князя закипало острое чувство несправедливости.

Владимир резко развернулся и встретился взглядом с Ростиславом, стоявшим перед ним.

– Брат, не верь тому, что сказал этот старец-тысяцкий. Замшелый пень может только скрипеть, рассыхаясь, но не умеет петь как свирель. Воевать с врагом и победить – не значит стать убийцей. Ты соберешь войско, брат, соединишь свою дружину и мою, призовешь, если нужно, новгородцев, ростовчан и союзных нам половцев. Святополк, если пожелает воевать с тобой, не одолеет. Но он наверняка не захочет и покорится своей судьбе. А бояре без князя затоскуют и придут к тебе на поклон.

В очах молодого переяславского князя полыхали отблески славной кровавой сечи, реяли победные знамена.

– Так отчего волнуется чернь? – вдруг подал голос Душило, которого никто не приглашал остаться на разговор двух братьев.

– Тебя здесь не должно быть сейчас, Душило, – удивившись присутствию дядьки, сказал Ростислав. – Тебя не касается это дело.

– Что касается тебя, отрок, касается меня, – благодушно сообщил кормилец, с наслаждением вытянув на середину палаты огромные ноги в латаных сапогах. Сколько ни упрашивал его Ростислав выбросить эту рванину из узорчатой, сильно истершейся кожи, сколько ни дарил новых сапог, Душило хранил верность старым. Всем давно надоела присказка, что шкуру для этих сапог он снял с лютого зверя коркодила в новгородских болотах, но переубедить кормильца было бы не под силу даже митрополиту.

– Волнуется, потому что зимой был мор, а прошлым летом недород, – объяснил Ростислав, смирившись. – Что еще черни для волнения надо?

– Вряд ли только это.

Мономах снова отвернулся к окну, прижался лбом к византийскому стеклу. Будто хотел увидеть отсюда торг на спуске Княжьей Горы, где градские люди собирались на вече.

– Надо было спросить у тысяцкого.

– Так я ж спрашивал, – напомнил Душило. – Янь Вышатич скрипеть, как замшелый пень, не умеет. Зато умеет молчать, как старый дуб, когда не хочет чего-то говорить.

– Думаешь, людей на торгах кто-то бунтует, Душило Сбыславич? – уважительно отнесся к нему Мономах.

– Тебе думать, князь, не мне, – устранился Душило. – Я только за чадом приглядываю.

– Какое я тебе чадо, старая ты бочка солонины! – огрызнулся Ростислав.

Мономах помрачнел, отошел от окна. Сел, вцепившись в подлокотники резного кресла.

– Только и слышу теперь: сам думай, сам решай, сам выбирай. Бояре князю на что? На пирах сидеть, бороды в вине мочить? Все меня оставили. Зачем воевода Ратибор не здесь, а в Новгороде?.. Ефрем-митрополит еще вчера уехал в Смоленск. Сбежал! «Церковь не сажает князей на стол» – вот что он сказал мне на прощанье. А кто сажает князей на стол?

Мономах обвел глазами всех, кто был в палате: Ростислава, Душила и тихо скользнувшую в дверь сестру Янку, игуменью Андреевского монастыря.

– Кто – бояре, простолюдины?

– Бог дает власть, – ответила за всех Янка, – и дает кому хочет. Поставляет на власть и кесаря, и князя, каких захочет дать стране и людям.

– Ты еще здесь? – недовольно прошипел Ростислав, увидев сестру.

– Прежде Всеволода в Киеве княжил отец Святополка, – напомнила Янка старшему брату, а на Ростислава даже не взглянула. – Если сядешь на великий стол, будешь воевать со Святополком, лить кровь. Святополк поведет на Киев ляхов, а им только того и надо. Уже не один десяток лет грезят, как бы вновь пограбить стольный град Руси.

– Напугала! – фыркнул Ростислав. – Дура ты, сестрица. Девой надела рясу, не захотела стать бабой, а теперь учишь мужей быть бабами.

– Володьша, – не слыша его, молила Янка, – остынь пока, не горячись, подумай. Не вой со Святополком, ведь он брат твой. Да помни, что еще один враг у тебя появился, и к нему Святополк может за помощью послать.

– О ком это ты? – нахмурился Мономах.

– О немецком Генрихе. От Евпраксии к матери пришло письмо. Она сбежала из заточения, в котором держал ее муж-изверг, и ныне укрывается от него в замке тосканской княгини. Теперь она злейший недруг Генриха, потому что хочет разоблачить его гнусные еретические деяния перед римским первосвященником.

– Бедная сестра! – пробормотал Мономах. – А я ничем не могу помочь ей сейчас...

– Генрих еретик? – заинтересовался Ростислав. – Какие это гнусные деяния, сестрица?

– Он подвергал Евпраксию насилию вместе со своими наперсниками по сатанинскому культу, – недрогнувшим голосом произнесла монахиня.

Ростислав в изумлении округлил очи.

– Это еще один довод для тебя, брат, – обратился он затем к Мономаху, – стать великим князем и отомстить Генриху.

Янка метнула в него гневный взгляд. Своя доля перепала и кормильцу Ростислава. Душило поднял могучие телеса со скамьи.

– Пожалуй, съезжу к Яню Вышатичу. Давно что-то не гостил у него.

6

На торжище в Копыревом конце Киева не протолкаться. Люд остервенело шумел, забыв о торговых и прочих делах. Сгоряча бросали шапки оземь или в рожу тому, кто не понравился, хватали за грудки, вволю бранились с копыревским сотским Микульчей и его людьми. Жару задавали столько, что глянувшее из облаков солнце тут же побледнело и вновь спряталось. Орали против Мономаха, изрыгали поношение на дружину князя Всеволода, грозились идти с боем к княжьим вирникам и мечникам, нажившим себе хоромы судом несправедным. Сотский Микульча забагровел от надсадной ругани, разорвал на себе ворот свиты и, взгромоздясь на прилавок, унимал горожан как мог. Но силы были неравны.

- Не хотим Всеволожьего рода в князи! – бунтовали простолюдины.
- Пушай Мономах убирается и дружину отцову забирает!
- Не видели правды княжьей сколько лет, более терпелки нету, кончилась вся.
- Оскудели вконец!

Микульча хрипел, едва сдерживаясь от мордобоя:

- Нету у меня для вас другого князя, этим сыты будете, б... дети!
- Будешь им сыт, как же! Мономах только голь и побродяг привлекает у себя в Чернигове,

а до людей ему дела нет.

– И родитель евойный той же дурью маялся. Нищих голодранцев у себя на дворе плодил, а в городе его дружинники людей обдирали. Будто он про то не ведал!

- Знать, не ведал! – рвал глотку сотский. – Хворый лежал, умом ослабел!

– А Мономах на ум не слаб? – насмеялись в толпе. – То-то от него княгиня сбежала да в рясу спряталась.

- Святополка в князи хотим! – проорал кто-то. – Он от Всеволода тоже набедовался.
- Мономах к Святополку тайно людей послал, чтоб зарезали его, как и брата евойного. Толпа всколыхнулась, услышав о злодействе.
- Святополка князем! Мономаха в поруб!

Невдалеке от места стычки Микульчи с градскими людьми, у лавок с гончарным товаром остановились двое конных. Обозрели сутолоку, послушали перебранку. Один был сухощав, морщинист и сед, другой крепок как дубовая колода, хотя тоже пожил немало, с поблекшей прядкой на лбу.

- Дивно мне, Янь Вышатич.
- А мне так вовсе не дивно, Душило Сбыславич.
- Дивно мне то, что они хотят князем родного брата того Мстислава, который резал их, будто скот, за мятеж против своего отца, князя Изяслава. Мало ль тогда крови пролилось, мало безглазых людинов по дворам ползало?

- Память черни коротка. Она живет одним днем.

Тысяцкий Янь Вышатич вглядывался в толпу, привстав на коне.

– Не то дивно, что ты сказал, Душило, а то, что повторяется все точь-в-точь, как тогда. Святополк крепко выучил уроки изгнанного отца. Видишь те рожи, что за него первыми стали кричать? Не от себя они кричат, коня в заклад дам. Подученные.

– Как тогда полоцкие на торгах против Изяслава орали? – догадался Душило. – Теперь туровские против Мономаха глотки дерут?

Он положил ладонь на рукоять булавы у пояса.

– А что, Янь Вышатич, тряхнем веретеном, как раньше? Не забыл еще, как мы в Белозере мятежных волхвов и толпу смердов утихомиривали?

- Не те уже годы у нас с тобой, Душило, чтоб так веселиться, – усмехнулся тысяцкий.

– У меня, может, и не те, – легко согласился княжий кормилец. – Ноги больше трех корчаг меду не выдерживают ныне. А тебе, Янь Вышатич, твои годы в самый раз.

Тем временем конных на торгу прибавилось. С десятков кметей из младшей киевской дружины сходу врезались в толпу, смяли людей, раздали зуботычины. Те, кого горожане пытались в ответ стащить с седел, дергали из ножен мечи, со смехом грозили. Сотский Микульча, перекосившись лицом, тоже оседлал коня.

– Любимцы Всеволодовы, – сморщась еще сильнее, сказал Янь Вышатич. – Братья Колывановичи верховоды всему. Озлили людей дальше некуда. Вот кто у князя Мономаха сейчас защитники.

Тысяцкий в сердцах плюнул в сторону от коня.

– Поехали, Душило.

– А эти?

– У меня с Колывановичами сладу и при Всеволоде не было, а теперь и подавно. Микульча за ними приглядит. Большой беды, может, не будет.

По пути к княжьей Горе Душило ломал себе голову:

– Для чего князь Всеволод дал столько воли отрокам?

– Бывает доброта зряча, а бывает слепа, – коротко объяснил Янь Вышатич. – Не дай кому Бог на себе вторую познать.

В княжьих хоромах, запершись ото всех, тысяцкого в нетерпении поджидал Владимир Всеволодич. На стол с яствами не смотрел, то подходил к большой иконе Богородицы, горячо осенялся знамением, то брался за Псалтырь, разворачивал, читал первые попавшие на глаз слова. Псалмы душу не смиряли. Князь малодушно шел к окну и выглядывал, ждал то ли буйной толпы черни, то ли еще каких вестей.

Скрипнула дверь светлицы. Мономаха передернуло. Перед ним стояла тетка – княгиня Гертруда, мать Святополка, жившая в Киеве с тех пор, как он взял ее в плен для укрощения другого ее сына, горемычного вояки Ярополка. Ныне туровский Святополк остался единственным сыном княгини, и сейчас Мономах вдруг понял, отчего тетка не уехала жить к нему. Она годами ждала часа, когда нужно будет зубами вырвать киевский стол для Святополка. Князь видел, что перед ним волчица, готовая за своего детеныша вцепиться ему в горло.

– Не прошу, не требую, – произнесла она глухо, с опущенной головой. – Молю – отдай Киев Святополку.

Мономах оставался безответен.

– Вспомни, как братья моего мужа, твой отец и Святослав, гнали его. Отобрали у него Киев, вынудили скитаться на чужбине, прося милости. Сколько напастей принял он и от людей, и от братьев своих! А когда отец твой Всеволод попал в беду и призвал его на помощь, Изяслав, будто кроткий агнец, пришел по первому зову. Душой он был как дитя бесхитростное, злом за зло не платил и за обиду младшего брата дружину свою поднял на рать. Не сказал Всеволоду: «Столько от вас натерпелся!», не злорадовал, а утешил и любовь показал. И не по заповеди ли Господней погиб, положив душу за брата своего? Не было б того – не сидел бы ты сейчас в киевских хоромах. И чем Всеволод отплатил за ту любовь? Святополка из Новгорода выгнал, посадил там своего внука.

Вновь не дождавшись ответа, княгиня вскинула голову, гордо посмотрела в глаза племяннику.

– Не отдашь Киев сам – силой у тебя возьмут. Войско уже собирается. Ляхи и венгры, и Глеб минский с дружиной на тебя пойдут.

Уста Мономаха будто запечатало, не мог вымолвить ни слова. Стоял бледный.

– Молчишь! – с гневом произнесла Гертруда. – Тогда слушай. Прокляну тебя. Найду колдуна и велю ему сжить тебя со свету. А после покаюсь, и Бог меня простит, ибо ради правды сделаю это.

– Не боюсь того, – выдавил князь.

– А за сына своего тоже не боишься? – возвысила голос Гертруда. – Еще не ведаешь, что Мстислав в Новгороде, может, помер уже. Медведь его заломал, а случился тот медведь от ведовства. От внучки это знаю, жены Глеба минского!

– Кто?! – прохрипел Владимир, сильно накреньясь вперед, к тетке.

– Какой-то волхв в Полоцке. Верно, Всеслав еще зол на тебя за разорение его градов. Берегись, племянник. Вот что бывает с теми, кто сидит не на своем столе!..

Не слушая далее, Мономах бросился вон из светлицы, понесся по сеним, по гульбищу терема. Грудь в грудь сшибся с боярином Судиславом Гордятичем.

– Судила... – князь тяжело дышал. – Гонца в Новгород... спешно.

Вдруг схватил боярина за рубаху, притянул к себе, спросил страшным голосом:

– Куда Ставр глядел?!

– Откуда ж мне знать, куда мой брат глядел, князь, – изумился Судила.

Мономах отпустил его, шатаясь, направился прочь.

– Гонца пошлю, – пообещал боярин. – Стряслось-то чего, князь?

На высоком крыльце под сенью князь остановился, отдышался. В теремной двор с Бабина торгоа въехали тысяцкий и Ростиславов кормилец. Присмотрев Мономаха, отдали отрокам коней, поспешили к нему.

– Вести худые, князь? – участливо спросил Душило.

Мономах не заметил вопроса.

– Что, Янь Вышатич, – медленно произнес он, – будет ли в городе мятеж?

– Людей не остановить, – удрученно ответил старик.

– Почему?

– Пойдем-ка, князь, в хоромы. Что на ветру стоять. Кости мои нынче тепло любят. А лишние уши разговору ни к чему.

В повалуше, на самом верху княжьего терема, Янь Вышатич проверил, крепко ли челядин закрыл двери. А перед тем выставил в сени Душила, посчитав и его лишними ушами. Тот постоял, решая, обидеться или нет, махнул: «Ну и ладно» и отправился искать Ростислава.

– Ну, говори, боярин, отчего я не люб градским людям и почему нельзя успокоить их.

– Потому, князь, что старшая дружина Всеволодова тебя не поддержит. И еще потому, что среди крикунов на торгах затесались дворские люди бояр.

– Так бояре и чернь заодно против меня? – с тихой горечью молвил Владимир. – Бояре отчего, понятно. Отец не давал им притеснять градских и смердов по селам, кабалить и обращать свободных в холопов. Позволил черни искать защиту от боярского насилия у младшей дружины...

– А у кого было черни искать защиту от младшей дружины? – вставил слово тысяцкий.

Мономах недоуменно ждал продолжения.

– Ты не видел, князь, что творят отроки в боярских селах. Отбирают у закупов и смердов последнее, оставляют их голыми и нищими: мы, мол, защита ваша и обережение, так платите за это. Бояре отроков ненавидят, а те наущали Всеволода против старшей дружины. Сами же под видом княжьего суда грабят и продают людей. Отец твой, князь, добродетелен был, а землей своей худо правил, – подвел черту тысяцкий.

– Мой отец виноват перед людьми? – Мономах был ошеломлен. – И перед смердами?..

Янь Вышатич подошел к нему, положил руку на плечо, будто отец – сыну.

– Вспомни, князь, давным-давно ты говорил мне, что знаешь себе цену и не будешь торопиться сесть на великий стол.

Мономах глянул на него одним глазом из-под сбившихся на лоб прядей.

– Думаешь, старик, я доживу до твоих лет? В юности никто не торопится. Но чем больше лет остается позади, тем меньше их впереди... Ты все сказал, боярин?

Владимир Всеволодич отодвинулся от тысяцкого, сбросив его руку.

– Не все, князь. На моем дворе, в подклети, сидят с позавчерашнего двое отроков из Турова. Их прислал ко мне брат Путята, воевода Святополка. Он много младше меня, – объяснил Янь Вышатич, заметив удивление Мономаха. – Отроки передали мне грамоту Путяты. В ней сказано, что Святополк требует заточить тебя, князь, в поруб как нарушителя закона русского и Божьего. Такие же послания, думаю, получили и другие из старшей дружины.

Мономах отвернулся.

– Все против меня, – горько сказал он.

– Князь...

Владимир Всеволодич, не слушая более, толкнул дверь повалуши. В сенцах скучал дворский отрок.

– Послание, князь.

– От кого?

– Принесший сказал – от старца Нестора из Феодосьева монастыря.

Мономах вернулся в повалушу, развернул крохотный лоскут пергамена, быстро прочел.

– Нестор зовет помолиться с ним у гроба блаженного Феодосия.

– Пойди, князь, – одобрил тысяцкий. – Феодосий был дивный прозорливец. И нынче чудеса бывают по молитвам к нему.

– Пойду, – молвил Владимир. – Если и монахи против меня, тогда вернусь в Чернигов... И ты со мной, Янь Вышатич, пойди завтра. Помолись за сына моего Мстислава. Бог тебе чадородия не дал для испытания твоего, и твою молитву за чужое чадо милосердый Господь скорее услышит.

– Помолюсь, князь, как за своего.

7

Печерский монастырь три десятка лет как вышел из пещер под землей. За эти годы он обильно расселся на холме и внизу холма у Днепра. Красой и радостью обители стала великая церковь, взметнувшаяся на горе Божьей помощью, благоволением князей и смиренными трудами иноков. Про ту церковь, освященную четыре года назад, и донныне ходила небывалая молва: про греков-строителей и иконописцев, и иных мастеров, по воле самой Богородицы приложивших к храму свое искусство, и про многие чудеса, при том творившиеся. От своего боярина, молодого Георгия Симонича, князь Мономах слышал и более – о том, как образ церкви явился варягу Симону задолго до того и за много земель отсюда, и как предсказано было ему первому быть похороненным в ней.

Поздним утром Георгий Симонич ехал в монастырь вместе с Мономахом и киевским тысяцким, также имевшим к печерской церкви особое влечение.

– Незадолго до смерти Феодосий пришел в мой дом, – рассказывал Янь Вышатич дорогой, – разговаривал со мной и с Марьей, женой моей. Слушать его всякий любил, потому как Феодосий насыщал собеседников своей кротостью и любовью. И вот заговорили мы об исходе души из тела и о том, что ветхому телу ждать срока, чтобы воссоздаться по слову Господню нетленным. А Марья моя спросила: кто знает, где я костями лягу? Феодосий же говорит ей: где меня положат, там и ты будешь лежать. И вот умер он, и погребли его в пещере под землей, а я, прознав о том, удивился его предсказанию, ибо не могло оно исполниться. И до позапрошлого года более не вспоминал об этом, как вдруг присылает мне Нестор письмо – приходи, мол, боярин, откопал я с благословения игумена мощи блаженного Феодосия и завтра перенесем их со славой в церковь.

– Жалею, что мне не довелось быть на перенесении мощей старца, – сказал князь.

– Правда ль все то, что говорили о виденных тогда светящихся столпах и заре над пещерой? – жадно спросил Георгий Симонич, полуваряг с рыжей головой и темной бородой.

– Все правда, – ответил тысяцкий и продолжил: – Марья моя разболелась тогда и не смогла поехать со мной в монастырь, а когда я вернулся, она лишь попрощаться со мной успела – дождалась. – Янь Вышатич дрогнул голосом и помолчал недолго. – Через день ее положили в той же церкви, только в другом притворе, против гроба Феодосия...

– А что, князь, – разгоняя печаль от рассказа тысяцкого, весело спросил Георгий, – думаешь, и монахам более по нраву ничтожный Святополк? На Руси хватило некогда одного Святополка Окаянного, убийцу своих братьев Бориса и Глеба, напустившего ляхов на Киев. Неужто захотят второго?

– Поглядим, – нехотя ответил Мономах.

Проехали село Берестовое. Отсюда уже был виден на холме золотой крест монастырской церкви. Через версту князь, бояре и десяток гридей, спешившись, вошли в новые, на подъеме холма, ворота обители. Чернец-привратник хотел послать за игуменом, но Мономах остановил его.

– Где найти Нестора-книжника?

– Со службы только разошлись, – пожал плечами монах, – может, в церкви еще. А не то в книжне – отец Нестор день-деньской там.

Парубок из монастырских милостников побежал со всех ног в книжню. Князь и бояре направились по дорожке в гору, отвечая кивками на поклоны встречных иноков и послушников. Церковь и впрямь была великая – полста сажений в высоту, просторная, светлая, изуренная снаружи и внутри. Такой бы стоять посреди града на загляденье глазу, на радость душе и на благословение всякому доброму делу. Мономах, перекрестясь, подумал, что хочет такую же в своих градах, где еще нет каменных храмов и даже не наберется достаточно христианских

душ. Но уж если возвысится посреди тех градов подобное великолепие, то вскоре и христиане сами собой образуются из язычников. «В своих градах», – повторил он в мыслях, печально усмехнувшись. Киев, выходит, не его град.

Нестора они обрели в церкви. Янь Вышатич, некогда отроком принявший его в своем доме вместо сына, обнял монаха и вслед за Георгием ушел в левый придел. Оба поклонились родным гробам, находившимся там под спудом.

– Пойдем и мы, княже, – сказал Нестор, – испросим для тебя милости у Бога через преподобного отца нашего Феодосия.

Владимир приложился губами к парче, укрывавшей мощи старца в дубовой раке, и опустился на колени. Молитва его была горячей. Феодосий при жизни наставлял князей, как править землей, любя Бога и людей, и учил их всякой правде, а неправде княжьей не покорялся. «Научи меня, отче, не покоряться неправде и всегда слышать волю Божию... И научи меня видеть, в чем она – правда... В том ли, чтобы слабому князю быть на великом столе? Чтобы было как при его отце и при моем – брат косо смотрит на брата и идет войной на него, отнять его стол и урвать себе лишний кусок земли? Не хочу этого для Руси, отче. Хочу, чтоб Русь единая была, чтоб младшие князья во всем покорялись старшему, великому князю, заодно с ним были. Державный князь нужен на Руси. Тогда не страшны будут ни половцы, ни ляхи, ни иной кто...»

– Послужить хочешь, князь, Руси? – спросил книжник, когда оба встали.

– Тебе известны мои помыслы, Нестор, еще с тех пор, когда мы были отроками. Они не изменились.

– Доне ты служил ей ратными походами, а теперь иначе послужи. Богу послужи, и тем Руси послужишь.

– Как понять твои слова? О Боге я всегда помню.

– Смирением послужи Ему. Смирись перед старшим братом.

– Смириться перед... – Мономах вспыхнул, – перед трусливым Святополком?

– Какой подвиг – смириться перед тем, кто сильнее тебя? – переиначил чернец слова Писания. – Ибо и трусливые покоряются сильным. Склони голову перед слабейшим, и награда будет твоя.

Не ответив, князь покинул церковь. От новых строящихся монашеских келий на холме к нему направлялся игумен Иоанн в окружении иноков. Немного запыхавшись, настоятель приветствовал Мономаха:

– Благослови тебя Господь, князь... киевский.

На это спотыканье Владимир Всеволодич отвечал твердо и почти сердито:

– Был и остаюсь князем черниговским. Ныне же пошлю в Туров за Святополком. Пусть придет и возьмет великий стол.

Игумен просиял лицом.

– Хорошо ты сделаешь, князь. Как сродник твой, святой князь Борис-мученик, ради любви уступишь старшему брату.

– Святополку, второму Окаянному, – тихонько охнул позади Георгий.

Посветлел вдруг взглядом и Мономах.

– И ты хорошо сказал, отче. Не чаял я никогда уподобиться старшим моим сродникам, святым князьям Борису и Глебу, пострадавшим от брата. Теперь же сотворю волю Божию.

Приняв благословение от игумена, князь с дружинниками отправился в Киев. После полудня глашатаи разнесли по городу, что Мономах из любви к брату зовет на киевский стол туровского Святополка. Чернь отпраздновала эту весть новым буйством: напала на конную сторожу у Михайловой горы и пограбила две усадьбы.

Во дворе тысяцкого отроки отворили дверь амбарной клетки, извлекли двух пленников.

– Ступайте восвояси, – устало сказал им Янь Вышатич.

– Ну мы тебе этого не забудем, боярин, – обещали помятые отроки.

– Господь с вами, дети. Я-то думал – Мономах мою верность проверяет тайным соблазном да посулом. А Путята пусть на меня обиду не держит. Ему нынче с князем его великая радость.

Наутро князь Владимир с отрядом дружинников выехал за городские ворота у горы Щекавицы, которыми так часто въезжал в Киев, торопясь из Чернигова на совет к отцу. Позади дружины ехал обоз, на котором везли малую часть добра из Всеволодовой казны.

Лядскими воротами в другую сторону, к Переяславлю, проскакал Ростислав.

Через три дня в стольный град Руси вступил со своей запыленной в пути дружиной Святополк Изяславич. Он проехал под сводом Золотых ворот и, чуть не падая с коня от усталости – так торопился завладеть великим столом, возгласил:

– Мой Киев!

8

Беспокойному изумлению князя не было предела. Не успел как следует усесться в Киеве, как нужно опять думать о войне. Да с кем – с шелудивыми степными князьями Боняком и Тугорканом. Теми самими, что позапрошлым летом вместе с теребовльским князем Васильком Ростиславичем терзали и опустошали ляшские земли. В Турове Святополк немало наслушался от ляхов жалоб на это кровавое разорение и лютых угроз выпустить потроха теребовльскому Васильку. От одних лишь имен половецких ханов его долго потом бросало в гневный жар.

Две седмицы после вокняжения в Киеве Святополк пребывал в благодушии и хмельной радости, что одолел своего врага Мономаха. К киевским мужам он отнесся снисходительно. А чтобы и они укрепились в дружбе к нему, показал им добрую волю и княжью твердость – повелел заточить в темницу половецких послов. Те явились, прослышав о смерти старого князя и пожелав обговорить мир с новым. Перечисление того, что они хотели получить взамен обещания не грабить русские земли, заняло немало времени. После, на пиру Святополк потешался над их наглостью и душевной простотой свирепых ханов, а киевские бояре в ответ выказывали князю недовольство. Мол, не посоветовался с ними. Дурное, мол, дело сотворил – это уже говорили не словами, а взглядами.

И впрямь, половцы в отместку за послов пришли на реку Рось и осадили град Торческ. Святополк, исполненный благих намерений, приказал отпустить послов, пообещав им все, что требовали, ради мира. Однако выполнять обещанного вовсе не думал, а намерен был степняков коварно обмануть. И снова киевская старшая дружина, с которой не посоветовался, удовольствия не выразила.

Половцы тем временем никакого уважения к княжьи обещаниям тоже не проявили.

– Не хотят поганые мира с тобой, князь! – доложил отрок, прискакавший из Поросья.

– Как это не хотят? – тревожно удивлялся Святополк, накручивая прядь длинной бороды на палец. – Сами ведь просили мира... Чего ж они хотят?

Он опасливо обводил взглядом киевских бояр, созданных на совет, словно боялся услышать от них ужасную неприятность.

– Воевать Русь они хотят, – мрачно высказался один, такой древний, что Святополку стало еще удивительнее.

– Это что за плесневый гриб? – наклонился он к воеводе Путяте Вышатичу, сидевшему рядом.

– Брат мой Янь, киевский тысяцкий, – насупясь, ответил Путята.

– Он годится тебе в деда, Путша. Так долго не живут!

– Не обижай его, князь, – попросил воевода, – ради меня.

– Половцы идут широко, – рассказывал тем временем отрок, – воюют все Поросье, от Юрьева и Торческа до Канева...

– Да что там воевать нынче? – нетерпеливо оборвал его Святополк. – По весне у смердов и взять нечего.

– Ополонятся вдоволь смердами, тоже хорошая добыча для поганых, – все так же сумрачно изрек тысяцкий.

– А почему на моей земле? – вдруг осведомился князь, грозно сведя брови. – Почему поганые воюют не Переяславскую землю или черниговское Посемье? Уж не братец ли Мономах натравил их на меня, чтоб не мытьем так катаньем согнать с киевского стола?

Дружина оторопела от такого предположения.

– То вряд ли, – ответил за всех, поднявшись с лавки, старый и дородный боярин Воротолав Микулич. – Не надо было тебе, князь, без совета расправляться с половецкими послами.

– Не больно-то князь Всеволод со своей старшей дружиной советовался! – запальчиво и с насмешкой выкрикнул туровский боярин Славята Нежатич.

– Что из этого вышло, всем известно, – спокойно ответил Воротислав Микулич. Пусть острым словом и в долгу не остаться он и сам умел, за более полувека жизни натерел в этом искусстве. Но теперь не считал нужным заваривать перебранку. – Киевская земля оскудела от лихоимства и насилия, от прошлогодней войны и мора. В ополчение не набрать много воинов, а одной дружиной с половцами ныне, как видно, не сладить. Нужно искать с ними мира.

– Верно, – поддержали боярина остальные, – не пытайся, князь, идти ратью против степняков. Мало у тебя под рукой воинов.

– Киевская дружина испугалась сыродцев! – снова посмеялся Славята.

Святополк Изяславич, слушавший всех с усердием и мотавший бороду на палец, встал, повел решительным взглядом.

– Велю дружине собираться в поход. Моих семь сотен отроков да киевские кмети – постоянно за землю Русскую, отомстим поганым за сожженные ляшские грады!..

Князь запнулся. Бояре смотрели настороженно.

– Зачем это нам, князь, мстить за ляхов? – прозвучал наконец вопрос. – Оно, конечно, король у них – твой родич, да только нам такие родичи – как шлея коню под хвост. Будто оводы злющие кусают Русь на порубежье.

– За землю Русскую постоять – мало вам? – озлился Святополк.

– Это, князь, иное дело, – вставил слово хазарин Иван Козарьич. – Но если бы у тебя было и семь тысяч отроков, то где взять столько смердов в обоз, и столько корма для коней, и столько сыты для людей? Оскудела наша земля, верно сказано. Не время теперь воевать такими силами.

– Если хочешь воевать, так посылай, князь, за помощью в Чернигов, к Владимиру Мономаху.

Святополк Изяславич вздрогнул, впился глазами в Яня Вышатича, вздумавшего сказать такую крамолу.

– К Моном... Да я... – бледнея, стал заикаться Святополк. – Это ж... что такое...

– К ляхам скорых гонцов пошли, князь, к воеводе Володю! – зашумели туровские дружинники.

– Ляхи от одного поминания куманов под лавки попрячутся! – грянул в ответ Воротислав Микулич. – Послушай совет тысяцкого, князь, нет у тебя другого хода.

– Ни за что! Ни-ко-гда!

Святополк снова утвердился на кресле и крепко сжал губы, будто опасался, что киевские мужи силой вырвут у него иной ответ.

...Михайловская обитель в Выдубичах, детище князя Всеволода, который год соперничала с Феодосьевым монастырем. Стоявшая у Днепра далее от Киева, она тщила превзойти Печерскую украшением своей церкви и добротностью иных построек, и книжностью своих иноков, и обилием сел, дарованных князем. Но большого толку из этого соревнования не выходило. Людей всегда больше толкло у феодосьевых монахов, равно привечавших и холопа и князя, и смердю вдовицу и зажиточного купца. И поклониться мощам самого Феодосия теперь приходили во множестве, чем выдубицкие чернецы похвастать не могли, ибо никакими святыми останками не сумели по сию пору обзавестись, несмотря на все старания князя Всеволода.

Потому обилие съехавшихся в Михайловский монастырь князей и дружинников ввергло здешних черноризцев в изумленное и душе вовсе не полезное безделье. Молиться по кельям или исполнять назначенную работу не было никакой мочи, когда от жгучего интереса перехватывало дух. А как не быть любопытству жгучим, словно крапива, когда в княжьих покоях, выстроенных Всеволодом для себя, другой день подряд ссорятся и бранятся князь – киевский с черниговским. А заодно с князьями лают друг на дружку их бояре. Да так сильно, что, верно,

бесы со всей округи приволоклись их послушать и повеселиться. А инокам оттого и тошно, и занятно, и монашье правило на ум нейдет.

Игумен Петр сбился с ног, пока пытался водворить в обители хоть какую пристойность и порядок. Но скоро махнул на это рукой, сел на скамью и в изнеможенье слушал княжью распрю.

– Поскупился ты, брат, на дары половцам, теперь нам вместе кашу расхлебывать, – горячился Мономах и рубил воздух рукой. – Так внемли моим словам, если хочешь от меня помощи...

– Скажи уж сразу, что ты страшишься поганых, – пылал Святополк, заплывывая длинную бороду. – Что тебя одолели старость и болезни, и хочется тебе греться у печи, как ленивому коту...

– Болезнь одолела тебя, – Мономах сильно постучал кулаком по лбу, – если не видишь, что половцы теперь другие, не те, что были пять и десять лет назад! Степи их выжгло засухами, и выставлять против них войско – что тушить пожар дровами! Их не остановить, пока они не насытятся.

– Да что ж теперь – кормить их из своей казны?! Нету у меня для них столько корма!

– А ты поищи, брат.

– Что ж искать, ежели ты все вывез! – злобился киевский князь.

– Не все. Там еще сполна богатства оставалось. Я взял лишь то, что положил в казну мой отец. Имуущество князя Изяслава я не тронул.

– Как же, не тронул! – пробрюзжал Святополк. – Куда оно все делось? Нечем мне степняков ласкать, воевать с ними будем! Я старший или не старший князь на Руси?!

Мономах, ходивший посреди широкой горницы и наступавший на ноги боярам, вдруг остановился, с жалостью обозрел его.

– Хоть и старший ты, а умом младше моих отроков.

– Я похабства над собой не потерплю! – гневно возгорелся Святополк. – Не хватило тебе ума удержаться в Киеве, так помалкивай!

– Княже, княже, Господа ради, – простонал игумен Петр, – оставьте брань и поношение. Сговоритесь уже на чем-нибудь!

– И то правда, – веско молвил Иван Козарьич, перед тем ковырявший в ухе, будто оглох от ругани. – Второй день тут преем, а пря ваша, князи, никак не кончится.

Тут просвет раскрытой двери горницы затмил боярин Душило Сбыславич. Внутрь заходить не стал, и без того тесно – монастырский теремок строили без расчета на княжьи совещания с боярами.

Уперся плечами в ободверины и, как помстилось Святополку, рыкнул:

– У кого из вас ума больше, князи светлые, после решите. Не такой уж важный вопрос. Поганые нашу землю топчут, а вы тут сидите. Завтра же поутру отправимся к Стугне, навстречу половцам. А с миром или с войной – в дороге договоритесь.

Мономах обернулся к Святополку:

– Выступаем, брат!

– Уговор... брат, – криво улыбнулся киевский князь.

9

Вечеру, но не близко к сумеркам, с Красного двора в Выдубичах на дорогу к Печерскому монастырю выехала малая дружина. Князь Ростислав с отроками ехал благословляться перед походом на половцев. Затея была не его, а дядьки Душила, но князю понравилась. Феодосьевы чернецы слыли прозорливцами и чудотворцами, могли предречь исход сражения и молитвами уберечь от напрасной смерти. От выдубицких монахов подобного не ждали.

– Где тут благословляться, – развел руками Душило посреди Михайловой обители. – Сам видишь, чернецы рты разевают, мух глотают. Поедем лучше к Феодосию.

– Ладно. Только я поеду без тебя, дядька.

– За что ж такая немилость? – удивился кормилец.

– За то, что ты мне шагу ступить без тебя не даешь, – сердито ответил Ростислав. – А я уже вдовый князь, между прочим. Мне скоро двадцать пять.

– Двадцать и три, – поправил дядька. – Ну, бог с тобой, чадо. Авось у монахов с тобой не сдеется ничего худого.

Ехали по мелководью Днепра, весело гомонили, разбрызгивали конскими копытами прозрачную воду. Давно уже наверху показались деревянные стены монастыря, но уходить от теплой по-летнему реки не хотелось. Ростислав спрыгнул с коня, быстро скинул одежду и сапоги. С гиканьем метнулся в воду, поплыл, шумно отфыркиваясь. Отроки, следя за князем, не вдруг заметили двух чернецов, спускавшихся от монастыря к реке с большой корчагой в руках. Обойдя дружинников стороной, они зашли в воду и опустили в нее горло корчаги.

– Монахи, – присвистнул кто-то из отроков. – С пустой корчагой.

– Дурная примета!

Кмети неторопливо приблизились к чернецам.

– Чего тут шляетесь, дармоеды? – грубо спросили.

– По воду пришли, сынки, – безмятежно ответил долговязый чернец с кучерявой седью, торчавшей из-под скуфьи на голове.

– Экая ты длинная жердина, – сказали ему.

– И горшок для каши сверху нахлобучен.

– Да тебя в огород ставить, чернец, ворон отпугивать.

Монахи вышли из воды, неся полную корчагу. Один из дружинников подобрал с земли крупный камень, метнул в сосуд. Корчага треснула и пролилась.

– Пошто беззаконие и срамоту творите? – уже без приветливости спросил долговязый монах. Второй, похожий на послушника, охнул и взмолился:

– Не троньте нас, мы люди божьи!

– Божьим людям не положено переходить путь князю!

– Ну вы, рубища драные, какое у вас оправдание есть? А если нету, то мы вас сейчас в реку макнем, а выловить забудем.

– Сынки, – покачал головой седой монах, – злое дело делаете, Богу не угодное. Вам бы просить молитв о душах ваших и плакать о скорой погибели, а не скверноту изрыгать. Кайтесь, сынки, в грехах своих, чтобы умилосердить Бога. Суд ваш уже над головами вашими: все вы с князем вместе погибнете в реке, как нам грозитесь... Брат Онисифор, отойди-ка подальше.

На берег, отплевываясь, вышел Ростислав.

– А ну-ка повтори, старый, что ты сказал!

– Да ты ведь все слышал, князь.

– Он сказал, что желает тебе утопиться, князь! – злобно перетолмачили отроки.

– Это ты мне пророчишь утонуть в воде, – процедил Ростислав, – когда я с детства плаваю, как рыба?!

– Не спасет тебя твое уменье, – тихо ответил чернец.

– Ну смотри, монах, как твое предречение на тебе же исполнится, – скрежетнул князь зубами.

Отроки по его приказу сбегали к коням за веревкой, ловко, с задором скрутили старику руки и ноги, подвесили на шею камень.

– Отче Григорий!.. – надрывно зывал послушник, вознося руки. – Отче!.. за что мучение принимаешь?!

Кмети взяли монаха за ноги и плечи, занесли в воду, раскачали. Тело бултыхнулось в нескольких саженьях от берега.

– Проклятый чернец! – ругался Ростислав, натягивая порты. – Всю охоту перебил. Теперь по его вине без благословения на битву пойду.

– И чего мы в этом монастыре не видели, – согласились с ним отроки. – Поедем, князь, обратно, пока не стемнело.

...Дядька Душило ждал возвращения князя за воротами Красного двора. Сидел на коне, слушал стрекот кузнечиков в сумерках, смотрел на зелено-рыжий закат.

– Благословился, княже?

– Благословился, дядька, – хмуро ответил Ростислав.

День спустя сборная рать трех князей подошла к реке Стугне. На другом ее берегу, у впадения в Днепр, стоял град Треполь – сильная крепость, окруженная валом и высокими стенами с забороллами поверху. От Треполя вал тянулся вдоль Стугны, издали похожий на огромную змею. Оттого эти валы по рубежным рекам степной Руси издревле прозывались Змиевыми – так толковали теперь. В былые же годы, как говаривали древние старики, их называли так потому, что божий коваль Кий запряг в соху огненного Змея и вспахал степь, и получились валы, которыми Русь прикрывала себя от врагов испокон веку. Древоземляная стена на валу, ставленная еще князем Владимиром Святославичем сто лет назад, также служила обережением от степняков.

В виду Треполя князья разбили шатры, затеяли совет. Половцы были близко, дозорные из крепости доносили, что степь уже вспучилась ордой хана Боняка не далее двух дневных переходов. Вновь от спора становилось жарко, да солнце пекло, и рубахи взмокли, как в бою. Мономах настаивал на мире. Святополк, которого прежде никто не считал храбрецом, рвался добыть себе славу и отомстить поганым. Черниговский князь, зная, что половцы неохотно идут на прямой бой, предлагал устрашить их загодя видимым обилием войска. Старшие киевские мужи соглашались с ним. Но преданные Святополку бояре твердили:

– Перейдем через реку, встанем в проходе между валами. Половцы не смогут ни выбить нас оттуда, ни обойти.

– А если прорвут наши полки, то окажутся в ловушке между рекой и валами, – вдруг поддержал их черниговский воевода Ивор Завидич.

– Что ж, – после раздумья сказал Мономах, – можно попытаться.

На рассвете Стугна вскипела сотнями переплывавших ее коней с седоками и вьюками. Еще накануне было видно, что река вздулась, затопив берега, и шла волнами. Там, где был брод, кони не доставали теперь до дна. Войско едва не лишилось многих кметей, попавших в стремнину. Несколько коней выплыли на берег без всадников.

– Плохое начало, – процедил Мономах, подъехав к Душилу Сбыславичу. – Ты, боярин, побереги в бою Ростислава.

– Зачем напоминаешь, князь? – чуть не обиделся кормилец.

– А все же побереги, – настаивал Владимир. – Непокойно на сердце. В то утро, когда мы выступали, я был на рассвете в Феодосьевой обители. Монахи сказали мне молиться за брата. Сказали, что и сами будут молиться за него. Отчего это, Душило?

– Не знаю, князь, – нахмурился кормилец. – Знаю, что их молитва многих спасла от гибели.

От Треполя дружины пошли к широкому проходу, разрывавшему вал и стену. По обоим краям прохода несли бессменную сторожу низкие квадратные башни с боевыми площадками поверху. Выйдя за вал, рать облачилась в брони и панцири, извлеченные из व्यюков. Выстроились полки, знаменосцы поставили хоругви и стяги. Половцы, давно извещенные о намерении русских князей, тоже исполчились, выдвинули вперед стрелков. Но Боняк выжидал, когда русские начнут первыми. Мономах, стоявший на левом крыле, послал гонца к Святополку: «Чего ждем?» В ответ гонец принес ядреную брань, и едва она отзвучала, по полкам прошло движение: дружина Святополка под резкие звуки посвистелей натянула луки. Ливень стрел всех трех полков пролился в одно время. Половцы не замедлили с ответом. Бой начался.

Куманы не стояли на месте – их стрелки накатывали волной, пускали смертельный дождь и разворачивались, чтобы дать место следующей волне. Русские дружины пока не двигались, лишь место выбывших занимали в рядах другие. Еще со времен несчастной битвы на Альте были научены – половцы легко расстраивают ряды летящей на них конницы, взламывают полки клином всадников, закованных в тяжелые панцири. Но сейчас у русских была припасена хитрость. Дружина Ростислава, стоявшая в центре, должна была притворно просесть под натиском куманов, дать им пробиться за валы. Там на степняков должны были обрушить стрелы и сулицы кмети Треполя, засевшие наверху, в башнях и под стеной, а с боков – насесть ратники Ростислава.

Но половцы будто почуяли подвох – недаром Боняк вел свой род от предка-волка. Тяжелая конница, рванувшая на русских после очередной расточившейся волны стрелков, направила удар не по центру, а вбок, на дружину Святополка. Мономах и Ростислав схлестнулись с легкими конниками степняков – меч и топор против кривой черной сабли.

К черниговскому князю подлетел воевода Ивор Завидич, крикнул на скаку:

– Туго приходится киевской дружине! Пока держатся крепко.

Мономах послал к Святополку гонца:

– Пускай стоят сколько смогут, а потом уводят половцев за валы.

– Поганые не пойдут сбоку, князь! – возразил воевода. – Остерегутся Ростислава!

– Тогда помогай нам Бог!

Мономах поспешил на помощь Георгию Симоничу и его людям, едва удерживавшим оборону.

– Я в долгу, князь!

На мокром от пота лице молодого боярина весело сверкнули зубы, когда степняки отлетели назад, а большей частью полегли.

– Князь! – раздался где-то в стороне надсадный крик. – Киевская дружина побежала!

Скоро бегство киевского полка остальные ощутили на себе. Половцы, не став преследовать бегущих, люто насели на черниговцев и переяславцев. Тяжелые конники ломали еще оставшиеся ряды, рассекали войско и частями зажимали в клещи.

– Князь, отходить надо! – проорал объявившийся рядом Судила. Он был без шлема, половину лица скрывала запекшаяся кровь.

– Рано еще! – прорычал Мономах. – Скачи к Ростиславу – пускай прежде он уходит.

Но черниговцы уже изнемогли. Степняки превосходили числом и злостью. Мономах понял, что его дружину отсекают от валов и остального войска. Остановившись на миг, он содрал с пояса рог и резко протрубил отступление. Поискал глазами воеводу, но наткнулся на мертвое тело Ивора Завидича с дырой от копья в шее.

Остатки его дружины понеслись к проходу между башнями, последним ударом сметя с пути отряд половецких конников. Преследовавшего врага начали бить сверху трепольские

кмети. Вскоре к черниговцам присоединилась истрепанная рать Переяславля. Мономах увидел скачущего Ростислава.

– Где Душило? – крикнул он. – Убит?

– Не знаю, – помотал головой брат. – Я потерял его.

Они вылетели за валы. Часть войска – дружина Святополка – укрылась в Треполе, последние киевские отряды еще летели к воротам. Но всю уцелевшую в битве рать крепость принять не могла. Мономах показал на реку – уходить через нее.

Стугнинский брод был неширок, а людей, остервенело правивших по нему коней, много. Вода бурлила между плывущими, накатывала холодными волнами. Кони сшибались друг с дружкой, люди кричали, захлебывались, удерживались из последних сил. На середине реки утомленных коней начало сносить. Волны быстрины опрокидывали всадников, кольчуги тянули на дно. Мономах вскрикнул, увидев, как выбросило из седла Ростислава. Переяславский князь вынырнул, хватая ртом воздух. Рукой пытался поймать шею коня, но тяжелая броня не давала подняться. Ростислав потерял коня и стал тонуть.

Мономах пытался направить к нему своего жеребца. Конь не слушался. Князь, забыв про собственную кольчугу и наручи, бросился в воду. Река вмиг поглотила его с головой. Он видел только желтую муть и ничего более, чувствовал, как его тянет куда-то, и понимал, что через мгновение он целиком отдастся этой силе, потому что сопротивляться ей невозможно.

Но какая-то другая сила рванула его за волосы и вытащила из воды.

– Рано тебе, князь, на тот свет торопиться, – с натугой проговорил княж муж Дмитр Иворович, сын убитого воеводы, взваливая Мономаха на его коня.

– Ростислав... – отплевываясь, хрипнул тот.

– Его уже не достать, – был ответ.

До другого берега Стугны не добралось более трети воинов, переплывавших реку. Владимир, тоскуя по брату и сгинувшим в битве лучшим мужам, едва сдерживал рыдания, рвавшиеся из груди вместе со словами. В ту же ночь доскакав до Выдубичей, он послал к Треполю кметей во главе с Дмитрием Иворовичем и оружных холопов.

По пути отряду встретила понурая дружина Святополка, спешившая в Киев, – едва половина людей. У Треполя узнали, что половцы ушли, разделившись, на полдень и на закат. Пока Стугна опадала, входя в берега, на поле за валами искали среди мертвых тела погибших мужей – черниговского воеводу, кормильца князя Ростислава, и многих иных. Душилу Сбыславича нашли под грудой убитых половцев и двумя конями. Он был жив и почти цел, только ослабел от удара палицы по лбу и задохнулся под трупами. Ему сказали о гибели Ростислава. Шатаясь, он побрел к реке, вошел в нее и не выходил, пока его не вынесли полуживого от ныряний.

Ростислава нашли через день. По пути в Киев Душило от горя не проронил ни слова, но содрогался от немых и невидимых слез.

Погребли князя в киевском храме Святой Софии, рядом с гробом отца. При том весь Киев полнился дурной молвой. Одни верили рассказам, что молодого Всеволожича и его отроков утащил на дно утопленный ими накануне чернец. Другие толковали, будто монах потянул за собой князя, чтоб судиться с ним пред Христом. Третьи просто ругали чернеца и жалели юность Ростислава.

10

Дворский отрок подождал, пока князь медленно спускался по заснеженным ступеням, пропустил его в темь узилища и прикрыл дверь. Лестница вела еще ниже и упиралась в две другие двери. Одна была отверста. Отрок шел позади князя, светильником показывая путь.

Мономах переступил порог клетки и поморщился: в узилище стоял смрадный чад. Низкий потолок коптели горящие светильники по стенам, в углу вонял ворох гнилой соломы.

– Шерсть, что ли, жгли? – недовольно спросил князь.

– Ага, жгли, – улыбочиво подтвердил дружинник, уступая князю место на короткой скамье.

Напротив скамьи в цепях, вделанных в потолок, руками вверх обвисал узник. Он был голый, мокрый, избитый плетью и с подпалинами в волосатых местах тела.

Мономах кутался в меховую, порядком облезшую вотолу и равнодушно взирал на узника.

– Он будет говорить?

Отрок, с которым князь пришел, дернул за волосы голову битого холопа.

– Ну, рассказывай, – молвил Мономах, – кто велел тебе украсть рубаху новгородского князя и передать ее полоцким людям для волшбы.

Раб напряг тело, попытался встать на ноги.

– Оговорили, князь, – глухо пробормотал он. – Ничего того не делал и не думал делать. Напраслину возвели...

– Отпирается, – объяснил кметь, пытавший холопа. Он вынул из стенного кольца светильник и поднес пламя к узнику. Тот засучил ногами, стараясь отодвинуться.

– Какой толк тебе отпираться? – утомленно спросил князь холопа. – Если скажешь, пощажу, нет – велю казнить как разбойника.

– Наговор на меня... со зла оклеветали... – всхлипывал узник.

– Убери огонь, – велел Мономах дружиннику. – Без того дышать нечем... Ведите другого, а с этим... потом.

Раба высвободили из оков и за руки утащили в соседнюю клеть. Оттуда приволокли еще одного, в страхе скулящего. Бросили на пол, велели снять одежду, чтоб не портить.

Князь ждал, сидя с закрытыми глазами. Ему было плохо. Гудела, как медный котел, голова. Под опущенными веками плясали цветные вспышки, отдавая в глазах тупой болью. Даже надоедливое нытье поясницы отступало перед этой скоморошьей пляской.

Второй узник был холоп, выкраденный в Полоцке со двора самого князя Всеслава. Посланные для тайного дела отроки две седмицы приглядывались к дворским людям и челяди полоцкого князя-язычника, прозванного чародеем и оборотнем. Под видом калик переходящих гнусавили на дворе и возле песни-славы, песни-былины, песни-жалейки. Слушали разговоры, высматривали самого болтливого и осведомленного в княжьих делах. Самым-самым оказался ключник.

Из боязни быть битым полоцкий раб торопливо оголился. Отроки, весело хлопнув по жирному животу ключника, вдели его в ручные оковы.

– Сам все расскажешь, или помочь тебе – подпалить ятра? – поинтересовались. – А может, по шкуре плетью пройтись? Шкурка у тебя нежная, – они пощипали ключника за бока, – а плеточка у нас особая, с коготочками...

– Сам... ай... не надо... все скажу...

Раб, ежась, уставился на князя – ждал вопросов, хотя и не знал каких. Мономах открыл глаза, мутно посмотрел на него.

– Что знаешь о волхвовании полоцкого князя против моего сына Мстислава?

– Это... по весне которое? – ключник облизнулся и зашпешил, дрожа от холода: – Знаю. Князь пригрел в хоробах пришлого волхва. Тот назвался Беловолодом. Князя заставил себя слушать, о богах говорил. Много говорил. Слушать страшно. О тебе, княже, говорил.

– Что говорил обо мне?

– Что от тебя зло будет. Что надо землю русскую разъединить и рассечь, а ты тому помехой станешь. А рассечь надо, чтобы править стали старые княжьи роды и древняя вера вернулась в грады.

– Почему хотели убить моего сына?

– Может, и не убить, – быстро сказал ключник. – Может, покалечить только. Чтоб не было свадьбы с варяжской княжной. Князь Всеслав не хотел того. Говорил, новгородский князь слишком усилится с женой-варяжкой.

– Всеслав сильно одряхлел?

– Из хором мало выходит. С дружиной редко сидит. В пирах невесел, с мечом более недружен. Стар князь. Думы голову одолевают.

– Вестимо стар, если волшбой вместо войны стал промышлять. Волчьи зубы шатаются и шкура облысела, а все старых грез о Новгороде не оставляет... Где нынче тот волхв, все ли еще в Полоцке?

– Ушел давно, а куда неведомо. Всеслав прогнал его.

– Что так?

– Думы князя одолевают, – стуча зубами, повторил раб. – С дружиной вместе не думает, сам в себе помышляет.

Князь поднялся.

– Ну, пускай думает... пока. Пока у меня других забот хватает. Этого вернуть на место, в Полоцк, – сказал он отрокам про ключника. – Второй пусть тут будет.

Во дворе Мономах остановился, запахнул плотнее вотолю и принялся ловить ртом снежинки. Легкий мороз приятно охлаждал голову. Скучавшие гриди на двух воротных башнях перекрикивались жеребьячьей чепухой про девок. Из молодечных несли хохот и звон оружия. От амбарных клетей с припасами приковывал тиун.

– Переяславский посадник приехал, князь.

– Что ж раньше не доложили? – осердился Мономах. – Ну и где он?

– Перво-наперво в поварню отправился.

Князь поспешил в хоромы, длинным гильбищем прошел к черным сеням. Из поварни вкусно пахло копченьем. Сновали холопы, отскакивая от князя. За грубым, едва почищенным столом, где обычно разделявали дичь, восседал Душило Сбыславич. Уплетал холодную баранью ногу, заедал пирогами, запивал бражкой прямо из корчаги. Узрев князя, замычал с полным ртом, приветливо закивал.

– Поздорову ли будешь, Душило?

– И тебе, князь, здравия. Вот, оголодал в пути.

– Не уважаешь княжью честь, боярин, – несильно побранил его Мономах. – На поварне дружиннику трапезовать – князю срам. Пойдем в трапезную.

– Я привык по-простому, – отмахнулся Душило бараньей костью. – Не серчай, князь.

Мономах сел на другой стороне стола.

– Да и я, сказать правду, пиров не люблю, – признался он. – Ради дружины только терплю их. Эй, – крикнул он поварской челяди, остолбеневшей у жаровен, – на стол всего и поболее.

– Хороший ты себе двор устроил, князь, – похвалил Душило. – Крепкий, ладный. Не двор, а целый детинец. Я одним глазом успел глянуть. Потом как-нибудь получше рассмотрю.

Он подцепил с принесенного блюда копченый бычий язык, половину сразу затолкал в глотку.

– Люблю это место, – молвил князь. – Нешумно и с холма далеко видно, кто по Днепру в Киев плывет.

– От Смоленска загородился иль от Полоцка? – понимающе хмыкнул Душило и спросил: – А что не ешь, князь?

– Чрево не берет. Хвораю что-то. На ловах простыл.

– Угу. Исхудал ты, княже, и выглядишь не так чтобы. Ты бы подлечился.

– Лекарь из Киева лечит. Говорит, почки плохи. Ты с чем приехал-то, Душило Сбыславич? Ладно ли в Переяславле? Обвыкся ли посадничать?

– Оно, вестимо, не веретеном трясти. Обвыкаюсь. Заставы и валы на Супое и Суле укрепляем. Да я не про то приехал. – Душило выхлебал до дна корчагу и пояснил: – Половцы мне покоя не дают.

– Они и мне спать мешают, – вздохнул князь. – Святополк, конечно, получил летом свой урок. Хотел по-быстрому добыть себе славы, а обрел позор и горе. Но мне с того не легче.

Мономах прикрыл глаза. Тотчас перед ним встал горящий город. Множество людей, живших в нем, сбитых в человечье стадо, подгоняли плетью конные половцы, уводя в степи. Торчешк, мощная крепость с двойным кольцом стен, от голода сдался половцам, не дождавшись помощи киевского князя. Святополку тоже было несладко – часть степного войска явилась в середине лета чуть не под самый Киев. Князь вышел на рать и в поле у града Желани лишился почти всей дружины да половины ополчения. Мертвых было так много, что воронье пировало до осени, пока не похоронили последнего.

– Поганые распробовали русскую кровь, вгрызлись уже под самое сердце, – сказал Душило. – В следующий раз они пойдут напрямиком к Киеву. Или к Чернигову. О Переяславле уж не говорю.

– Того и жду, – еще больше помрачнел князь.

– А зачем ждать? – Душило отодвинул корчаги и блюда в сторону, перегнулся над столом. – А, князь?

– Ну выкладывай, что придумал, – сказал Мономах, слегка оживившись.

– Половец – зверь хитрый и едва уловимый, – ковырнув в зубах пальцем, начал Душило. – Набежит, похватает и шасть обратно с добычей в пасти. В лучшем случае мы можем его догнать и отбить полон. А он в другой раз еще больше возьмет и утянет к себе в нору. Понимаешь, князь, у половца ведь есть своя нора, куда он тащит добычу и где его ждут женки с детьми.

– Это я и сам знаю, что степняки живут в своих вежах, – недоумевал князь. – Не на конях же они детей стругают. Куда клонишь, боярин?

– А что нам мешает нагряться к ним в гости да посмотреть, крепко ли они берегут своих жен? Не век нам за валами и стенами отсиживаться.

– Затравить зверя в берлоге, а берлогу сокрушить? – Очи Мономаха на миг блеснули, но быстро погасли. – Нет, не наберем сил. Степное порубежье большое, сторожевые отряды надо выставлять на всем протяжении – ждать набега в любом месте. А нынче людей и вовсе мало – за год многих повыбило.

– Погоди, князь, не спеши, – хитро ухмылялся Душило. – Половец не медведь, он опасен летом, когда сам сыт и сыты его кони. А зимой он голоден и кони его тощи, вот тогда он слаб и немощен, бери его голыми руками. Где он зимует, известно – за днепровскими порогами, на Дону и у Сурожского моря. Вот он, половец. – Душило сгреб с блюда добрый кусок кабанятины в жиру и шлепнул на стол сбоку от себя. – Это Днепр. – Он прочертил медом из корчаги длинную гнутую дорожку с другого боку. Потом шлепнул в Днепр два пирога и повел их вниз по реке. – Это мы идем, пешцы в лодьях, дружина на конях. От порогов уходим в степи. – Пироги, встали на изгибе реки, дальше в сторону мяса покатались лесные орехи. – Обнаруживаем вежи и... хватать!

Душило сцапал кусок вепревины и жадно вонзил в него зубы.

– Повеюем, порежем князьков, отберем наш полон, спалим вежи, – прожевав, сказал он. – На другой год к другим вежам наведаемся. После этого половцы не скоро на Русь смогут сунуться. А когда смогут – повторим.

– Погоди. – Мономах, вдохновившись, плюхнул на прежнее место новый кус мяса. – Они так просто не отдадут нам свои вежи. Воевать придется серьезно. В стычках с наскоку, в погоне мы их побеждаем. А в прямом бою половцы пока сильнее.

– Ну, тут у меня тоже задумка есть... – не слишком уверенно сказал Душило.

– Теперь мой черед, – заспорил князь. Он насыпал перед собой две кучи орехов, одну против другой, и разровнял. – Это наша конница, а это поганые. Они привыкли бить наши ряды клином, ломать полки. А что если удивить их...

Князь убрал часть орехов из середины русского войска и насыпал туда сушеных сарацинских ягод.

– Выставить пешцов против конных, – выпалил Душило, не утерпев.

– Это моя мысль! – возмутился Мономах.

– Ага, князь, твоя, – сияя, как золотой греческий солид, согласился боярин. – Я просто ее сказал.

– Пешцов вооружить длинными копьями и щитами в рост – от стрел...

– Поставить их в несколько рядов, глубоким строем...

– А позади – пешцов с топорами, на случай прорыва...

– А по правую и левую руку – конницу. Когда половцы разобьются о копейщиков, ударить по ним с боков.

Русские орехи на столе надвинулись на половецкие и смешались в куче.

– Хорошо мы с тобой подумали, Душило, – остался доволен князь. Но тут же грустно прибавил: – Только не скоро еще это будет. Дружину надо набирать, отроков обучать. Со Святополком... – он запнулся, – ладить. Моей дружины сейчас не хватает даже на разбойников.

– А что, сильно шалят?

– В брянских лесах на волоках залегают купцам пути, – пожаловался князь. – Посылал туда летом отроков со Станилой – едва десяток вернулся обратно. Рассказали про какого-то Соловейку. Силищи, говорят, в том Соловейке немерено. А живет со своими людьми на дубах. Ты не знаешь, Душило, почему на дубах? – задумался Мономах, раскусил орех и пожевал.

– Не знаю, князь. – Душило выпил меду, обтер усы. – А я вот что хотел сказать. Отпусти меня в монастырь.

– Чего? – опешил Владимир Всеволодич. – Куда?

– Я, князь, все еще себя каю, что не уберег Ростислава.

– Ты не мог, тебя мертвыми половцами завалило...

– Выслушай, князь. Не у Треполя я его не сберег, а еще прежде, когда в Феодосьев монастырь одного отпустил. Там-то его враг и подловил. А я-то, дурной, думал: в монастыре какая опасность? Был бы я там, не дал бы чернеца и пальцем тронуть. Тот Григорий был чудотворный монах, я потом узнал. Особо с татями воевал и многих из них к трудам праведным обратил. Вот теперь думаю: нужно мне вместо того Григория, по моему недосмотру утопленного, восполнить число феодосьевых монахов.

– Ты, Душило Сбыславич, с ума съехал, – решительно возразил князь. – То к половцам в нору грозишь залезть, их князьков резать хочешь, а то в монастырь сбежать собрался. И как ты там устроиться намерен? Твое чрево много требует, а феодосьевы монахи одной чечевицей с рыбой питаются. В великом посту и вовсе сухую корку гложут.

– С брюхом слажу как ни то. А про половцев... Я разве сказал, чтоб ты меня прямо сейчас отпустил? Вот отобьем им охоту на Русь наезжать, тогда и подамся на покаяние... Да! – вспомнил он. – Кто у тебя теперь воевода, князь?

– Ратибора поставил, более некого, – с неохотой отозвался Мономах.

Душило встал, уронив скамью, вместо утиральника вытер руки о подвернувшегося холопа.

– Ну, прощай, князь. Поеду обратно. Княжичу твоему отроку Святославу что передать?

– Чтоб тебя слушался.

– Угу. Так ты лечись, князь. Если с тобой что – кто тогда за Русь встанет?

Мономах, подошедши, обнял боярина.

– Того и опасуюсь, – молвил он тихо.

11

Ветер кружил по двору, кидая снегом в окошки, тряся ставнями. Самый лютый месяц зимы, самый скушный и надоедливый. «Устал от зимы», – подумалось князю. Хотелось горячего солнца, чтоб прожарило как следует его нутро, ноющее теперь от самого легкого движения воздуха. Князь, кутаясь в меха, вышел в сени, оттуда – на верхнее гульбище терема, открытое ветру. Окинул взором большой город, вспомнил с досадой, что недавно вернулся из Любеча в Чернигов. С гульбища любечского терема на холме вид был совсем иной – широта и безмятежность Днепра, скованные ныне ледяной броней.

– Княже, – испуганно-ласково позвал голос Марицы. – Пуще застудишься, пойди в дом.

Мономах покорно ушел в тепло хором, в изложню. Сел на ложе. Марица, опустившись на пол, стала ластиться, заглядывала в лицо. Князь ответно гладил ее по щеке. Жена-полонянка. Поразившая его когда-то своей красотой, но тщетно пытавшаяся согреть его сердце. Окрещенная Марьей, она оставалась дикаркой, не понимала христианской веры, не видела разницы между Русью и Степью, признавала мужа полновластным господином, хозяином и жизни ее, и смерти. Княгиня-рабыня.

Плененную печенежскую княжну подарил ему два с лишним года назад теребовльский князь Василько, ходивший в помощь византийскому царю против орды кочевников. В тот же поход по призыву Царьграда с ним шли половецкие ханы Боняк и Тугоркан. Некогда печенеги терзали Русь так же, как ныне куманы. Но после того похода печенеги навсегда исчезли с лица земли. Осталось только их имя, совсем не страшное – даже детей им теперь не испугаешь. Так же и половцы когда-нибудь расточатся.

– Как Юрья? – спросил князь о сыне, которого она родила ему год назад.

– Хорошо. Скоро сядет на коня, – засмеялась Марица. – Вырастет такой же сильный и храбрый, как отец. – Она горделиво погладила себя по животу. – Скоро-скоро у тебя будет еще сын.

Мономах благодарно поцеловал ее в лоб.

– Ступай.

Когда она ушла, князь лег на постель и стал думать, что лучше было бы остаться в Любече. В Чернигове слишком много людей, досаждающих ему заботой о его здоровье. В своей любечской крепости он был почти один, хотя строил ее с расчетом на сотню дружинников, не считая челяди. И там было хорошо. «Нужно остаться одному», – вдруг подумал он. Мономах на греческом значит Единоборец. Ему назначено бороться в одиночку. Но с кем? С половцами он один не справится. Их можно одолеть только всей Русью. Со Святополком? Нет. С другими князьями, тем же Всеславом – для мира на Руси? А может... со смертью?

Сколько раз он видел ее в глаза – на ловах, в рукопашной со зверем, в сече, лицом к лицу с врагом. Но никогда она не казалась такой мерзкой, как ныне, на одре болезни.

– Князь, пора пить лечебное снадобье.

Холоп приподнял ослабевшего князя, лекарь-армянин из Киева по глотку влил ему в рот воночье зелье.

– Тебе нельзя вставать, князь. Зачем вставал, зачем губишь мое лечение? – сетовал армянин. – Лучше меня никто не сможет врачевать тебя. Если не станешь слушать мои слова, скоро умрешь.

Мономах притянул его к себе, зажав в кулаке ворот.

– Когда я умру?

– Пока что не могу сказать этого, – нехотя признал армянин. – Но как только увижу признаки, немедленно сообщу тебе, князь, ты можешь быть спокоен в этом.

– Поди прочь, – бессильно прогнал его Мономах.

Скоро тяжелый сон опрокинул его в небытие. Владимир ненадолго выплывал из его глубин, чтобы увидеть какой-нибудь короткий и уродливый сон и снова утонуть в бездне. Потом уже и выплывать не надо было: сны сами спускались в пучину и толклись там в таком множестве, что от мельтешения их стало страшно. Но вдруг череду снов разорвало до боли знакомое лицо. Гида, жена. Отчего в монашьем убрусе? Ах да... Мономах хотел протянуть к ней руки и не смог. За все годы, прожитые с ней, он не сумел приблизить ее к себе настолько, чтобы полюбить. Между ними всегда стоял кто-то другой, о ком Мономах ничего не знал и не пытался узнать. В ту первую их ночь после свадьбы, когда он не нашел в ней того, что должен был найти, и простынь оказалась чиста, он поклялся сам и заставил дать клятву ее. Он обещал, что никогда ни словом не упрекнет ее в содеянном. Она в ответ поклялась на распятии никогда и ни в чем не причинять ущерба его чести князя и мужа. Оба исполнили свои обеты. Но одними обетами любви не сшить.

И все же никого роднее Гиды у князя теперь не было. Один год забрал отца, брата, чуть было не отнял сына, унес надежды, похоронил молодость. Отберет ли теперь и жизнь?

Гида исчезла. Князь снова ушел во тьму. А когда вернулся, над ним стоял, склонившись, воевода Ратибор.

– Где она? Гида была здесь? – хрипло спросил Мономах, цепляясь длинными пальцами за край ложа, чтобы подняться.

– Откуда ей взяться здесь, князь, – мрачно ответил воевода. – У тебя начался бред. Я позову лечца.

В сенях у изложни Ратибор остановил холопа:

– Где лекарь?

– В поварне зелье варит.

Армянин, бормоча свои молитвы, бдел над горшком в очаге. На столе лежала раскрытая книга, писанная неславянской азбукой, с картинками, на которых были запечатлены растения. Вокруг книги в строгом порядке разложены сухие пучки травы, корешки, порошки в ветошках и прочая лекарская дрянь. Никого более в поварне не было – армянин выгонял челядь, дабы не портила его искусство тарашеньем глаз и копаньем в носу.

Некоторое время Ратибор наблюдал за метаниями армянина между очагом и столом. Наконец спросил:

– Для чего я привез тебя из Киева?

– Чтобы князь был жив, – ответил лекарь, пролив варево из ложки на пол.

– Я привез тебя для того, – медленно проговорил воевода, – чтобы ты предрек ему смерть, как ты обычно делаешь с теми, кого лечишь.

Армянин повернулся к нему и гордо сказал:

– Я не лечу тех, кому предрекаю смерть, потому что их уже нельзя исцелить. Я лечу только тех, в ком не вижу еще знаков смерти.

Ратибор подошел к столу, посмотрел в книгу, перевернул лист.

– Ты получишь много серебра, если увидишь в князе знаки скорой смерти.

– Мне не нужно...

– А если ты не увидишь их, – перебил воевода, – то я сам, хотя и не лекарь, увижу эти знаки в тебе. Но никому не скажу об этом. Ты просто умрешь. И я не обещаю, что тебя смогут похоронить твои единовверцы. Веришь в мое предречение? – он упер палец, будто нож, в живот армянина.

Лекарь содрогнулся.

– Верю. Но меня заподозрят в отравлении князя. От его болезни не умирают быстро.

– Тебя не заподозрят. Ведь ты искусный лекарь. Иди к князю и объяви ему, что он умрет через три дня.

Армянин задумался.

– Я сделаю это через три дня. Три дня мне нужны, чтобы приблизить смерть князя. А после объявления срока я уже не буду лечить его, ибо я не сильнее Бога.

После разговора с лекарем Ратибор вышел на двор. Метель еще не кончилась, а снегу уже насыпало вдоволь, до самых ворот стелилась ровная пелена без единого следа. Гриди и отроки отсиживались в молодечных, холопы тоже прятались от непогоды. Воевода направился к конюшням. У отрока, чистившего коня, спросил, выезжал ли кто недавно со двора.

– Выезжать не выезжал, а ногами – выходил. Баба выходила, черница.

К изумлению отрока, Ратибор выругался и потребовал коня.

– А чего, надо было не пускать ее? – смутился он. – Так она неприметная, шмыгнула туда да обратно. В метели не сразу и разглядишь.

Воевода оседлал своего жеребца и направил к стоявшему недалеко Спасскому собору. Площадь городского детинца, как и княжий двор, была пуста, но в церкви готовились к вечерней службе. Внутри ярко пылали свечи, распевались певчие, разучивая новый лад. Ратибор оставил коня у коновязи и, оглянувшись по сторонам, двинулся в обход храма. В маленьком приделе-гольце сбоку церкви была своя дверка. Воевода громко застучал в нее. Едва она открылась, Ратибор шагнул внутрь и закрыл дверь на крючок.

– Немедля выйди вон.

Голос Гиды-Анастасии был тверд, но он уловил в нем и растерянность.

– Не выйду, не кричи.

Он осмотрелся. В крошечной каморе было много ларей и поставцов с книгами и мало места для человека.

– Как ты можешь жить в этом амбаре?

Гида приехала в Чернигов седмицу назад втайне от князя и дружины. Но Ратибору она вынуждена была открыться. Только он мог утаить от Мономаха ее приезд, и от него же она могла узнавать о здоровье князя.

– Ты говорила мне, что не пойдешь к нему и будешь только молиться о нем поблизости. Ты солгала.

– Владимир не видел меня. Он был в забытьи.

– Он видел тебя, – скрипнул зубами Ратибор, повернулся к стене и прижался к ней лбом. – Зачем ты приехала? Чтобы мучить меня?

Внезапно он развернулся и толкнул княгиню к стене, уперся руками по обе стороны от ее головы. Дышал ей в лицо и близко смотрел в глаза.

– Ты больше не его жена. Теперь ты никто и принадлежишь только мне. И твои монашьи одежды не уберегут тебя, если...

– Я принадлежу не тебе, а Богу, – сурово возвысила голос монахиня. – Бойся отнять у Него то, что Он взял от мира.

Ратибор опустил на ларь возле другой стены.

– Я служу Мономаху, как ты и хотела, – в бессилии произнес он. – Но не потому, что ты желала этого. Я мог бы уйти в Киев, к Святополку. Я остался в Чернигове, чтобы насладиться унижением Мономаха. После смерти князя Всеволода он слаб и знает это. Он никогда не сможет сесть в Киеве... Теперь он при смерти. Я даже жалею, что все так быстро кончится. Если бы он не собрался помирать, я бы изыскал способы унижить его еще более. Отнять у него все... Все, что еще осталось. Чернигов, Переяславль...

– Покайся, Ратибор, – с тихой печалью прервала его княгиня.

Воевода удивленно замолк. Потом сказал:

– Я не более грешен, чем все. И чем ты, Гида.

– Ты ослеп от зависти к Мономаху и не видишь греха. Покайся, тогда прозришь.

– Покайся ты, Гида, – ответил воевода, уходя из каморы, – в том, что я ослеп из-за тебя.

Через три дня князь узнал, что умирает. Он призвал к себе боярина Георгия Симонича и послал его в Печерскую обитель, к монаху Агапиту, прозванному Целителем.

– Умоли его приехать ко мне. А не захочет, так прислал бы мне с тобой своего снадобья, которым лечит всех.

– Сделаю, князь, – пообещал Георгий, сел на коня и быстрее ветра помчался к Киеву.

12

Святополк Изяславич, изнемогший от войны, зимой помирился с половцами. Мир стоил ему очень дорого – много серебра, тонких тканей, бочек с медом и драгоценных мехов. Отдавать все это в степь было нестерпимо жалко. Чтобы не так горек казался купленный мир и чтоб не обманули хитророжие половцы, князь потребовал залога – дочку самого Тугоркана в жены. Послы хана, довольно усмехаясь, согласились. Но пожелали по обычаю взять за невесту выкуп – совсем немного: еще четверть от того, что уже дала Русь за мир. Стиснув зубы, Святополк улыбался им в ответ. Свадьбу порешили играть на весенний солнцеворот. Княжну-половчанку должны были привезти в Киев со дня на день.

С утра князь пребывал в мечтательном нетерпении, будто безусый отрок в ожидании первой ночи. Накануне прискакал гонец: половецкий обоз с невестой перевалил за Трубеж. Завтра надо снаряжать дружину, выходить навстречу. Там, в Берестовом, князь увидит наконец нареченную. А пока что Святополк грезил над Соломоновой Песней песней, грыз орехи в белой сладкой оболочине и гнал прочь бояр, лезших к нему со своими досаждениями.

Боярин Наслав Коснячич оказался настырней других. Водворился в палату и стал столбом, не желая уходить. В руках мял пергаменный свиток.

– О чести твоей пекусь, князь, – настаивал боярин. – Крамола у тебя под боком зреет.

«Округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои – как...»

– А? – Святополк с усилием оторвался от книги. – Чьим боком?

– Твоим, князь. Печерские монахи возводят хулу на тебя. Вот прочти.

Наслав Коснячич протянул князю свиток.

– Это писание печерского книжника ходит по домам нарочитых мужей уже в нескольких списках. Списки те делают в книжне софийской церкви и в Андреевском монастыре, где игуменьей сестра князя Мономаха. Затем злонамеренно пускают по рукам.

Святополк, захолодев сердцем, развернул скрученные листы, впился глазами в письмена.

– Повесть о нахождении половцев на Русь, – прочел он заглавие и побежал дальше. – Наказывает нас Бог нашествием поганых, чтобы мы воздерживались от злых дел... Для этого в праздники посылает нам сетование... На Вознесение Господне – первая напасть у Треполя, вторая – в праздник Бориса и Глеба... И был плач велик в нашей земле... За грехи и неправды, за умножение беззакония нашего... Беззакония нашего? – повторил он, бледнея.

– В беззаконии тебя обличают, князь, – покивал боярин. – В грехах и неправдах. Чернеца этого, писавшего злопакодную повесть, я знавал в отрочестве. Родитель его, из торговых людей, был в зачинщиках того мятежа, когда чернь изгнала из Киева твоего отца, князя Изяслава, и моего отца-тысяцкого вместе с ним. И в отпрыске мятежное семя проросло, хотя он и укрылся в монастыре.

– ...Сказали князю мужи разумные: не пытайся идти против поганых... – читал Святополк, наполняясь гневом. – А другие, неразумные, говорили: пойдь, князь. И послушал их...

– Этому чернецу, – гнул свое Наслав Коснячич, – сильно потворствует тысяцкий Янь Вышатиц. Он же, вестимо, наущал чернеца писать оную крамолу и подсовывал монаху свои рассказы.

– ...За нашу ненасытность навел на нас Бог поганых, и скот наш, и села, и имения теперь у них, а мы своих злых дел не оставляем... Богатство, неправдою собираемое, развеется...

Святополк, перекосившись лицом, смял пергамен, бросил на пол и стал топтать.

– Вот тебе... вот... сквернописец жалкий... чернильная душа... Заточу!.. К половцам, в степь сошлю!.. В языческие леса изгоню!..

Он схватил истоптанный свиток и бросил в печь. Огонь не спеша пожрал написанное.

– Печерских монахов остерегайся, князь. Они и отцу твоему многие досады творили. Но прежде сгни тысяцкого с его места, – посоветовал Наслав Коснячич. – Этот дряхлый старик не будет верен тебе. Если ты забыл, напомню: когда князя Изяслава во второй раз изгонял из Киева его брат Святослав, Янь Вышатич был у того воеводой.

Святополк подошел к боярину так близко, что мог плюнуть ему на макушку. Взял за грудки, потянул вверх и спросил задушевно:

– А кто будет мне верен? Всеволодовы бояре, хоть и позвали меня на киевский стол, все равно смотрят косо. Того и гляди передумают, к Мономаху убегут и на меня ополчатся.

– Я, князь... – Наслав Коснячич выкатил глаза, – буду тебе верен.

В палату вбежал дружинник из младших, громыхнул дверьми. Громко дыша, оповестил:

– Подъезжают к Берестовому, князь! Скорым изгоном идут, собаки половецкие...

Святополк, бросив боярина, метнулся к нему и сходу дал в зубы.

– Свою тещу будешь называть собакой. Тугоркан теперь – мой любимый тесть!

– Понял, князь, – прошамкал отрок, поддерживая челюсть.

Святополк, забыв о чернецах, кинулся отдавать приказы дружине, тиунам, челяди. Послал и к матери, но той даже в городе сыскать было нельзя. Княгиня Гертруда после обеденной трапезы изволила ехать в Феодосьев монастырь. Услыхав про это, Святополк едва не отправил за ней оборуженных кметей с приказом изъять княгиню из рук монахов. Бояре отговорили.

...Половецкий обоз шел берегом Днепра: десяток кибиток, конный отряд в сотню степняков и стадо скота – дар Тугоркана киевскому князю, будущему родичу. Все это без остановки прошествовало мимо печерского монастыря, повергнув чернеца-привратника в изумленный трепет. Пока не исчезли из виду вихляющие зады трех вельблудов, подгоняемых всадниками, монах смотрел в прорезь ворот и творил молитву от поганых: «С нами крестная сила!» Добром поминал игумена Феодосия, велевшего держать ворота закрытыми от обеда до вечерней службы.

Прочих насельников монастыря половецкое шествие никак не задело. Княгиня Гертруда, которой оно касалось более всего, вовсе не обратила внимания на грохот колес и гиканье погонщиков, долетавшие через окно. Старой княгине было не до того.

Легко касаясь узловатыми пальцами книжных корешков, она взволнованно ходила по книжне. Роняла кружевной утиральник, звенела рясами, выказывала расстроенные чувства.

– Книжные словеса и поучения я не менее твоего, Нестор, почитаю и люблю. Тебе это ведомо лучше, чем кому другому. К летописанию наставника твоего, игумена Никона, Царство ему небесное, я всею душой прилежала. И о книжном просвещении на Руси по сию пору не устаю заботиться, подобно тебе и многим иным. Да и не только о книжном. Скольких изографов, храмоздателей и других мастеров я привечала и давала им заказы? Неужто ты после этого упрекнешь меня в злонравии и пристрастии к неправде?

– Сердце мое свободно от подобных помыслов, княгиня, – возразил инок.

Разговор не отвлекал его от работы. Нестор толкушкой давил в ступе чернильные орешки, сливал иссиня-черный сок в глиняную лохань и подсыпал новую порцию орешков. Чернил в монастыре для книжного строения потребляли много.

– Я могу понять твои слова обличения и обвинения, вразумления и остережения, – продолжала княгиня. – Мне, как и тебе, ненавистны алчность и беззакония, творимые над людьми. Однако отчего ты не написал, что все это развел при себе прежний князь Всеволод? Ведь это его дружина ходила злыми путями и своей ненасытностью навлекла на землю гнев Господень! Где был тогда Святополк – сослан в Туров, посрамлен и забыт! Отчего теперь ты возлагаешь все вины на моего сына? Пишешь, что он послушался неразумных. А где были те разумные, когда совершались неправды на Руси, когда изгоняли из Киева моего мужа? Они были среди

гонителей! Так не их ли разум навлек на нас наказание Божье? Им ли теперь выставлять себя ревнителями благоразумия? Ты знаешь, о ком говорю.

– Боярин Янь Вышатич по смерти Всеволода был в числе первых за Святополка.

– Чуяла хитрая лиса, откуда мясом тянет, – грустно посмеялась княгиня. – Святополк – большое дитя, и много неразумного еще сотворит. Молюсь за него Богу, чтобы только не досадил Киеву так же, как его отец, и не был позорно изгнан. Но чужие грехи на него вешать не дам! – Гертруда посуровела лицом и голосом. – Перепиши свою повесть, Нестор, прошу.

– Не стану, княгиня, – спокойно ответил книжник. – Неправды в моем повествовании нет. Ни Святополк, ни Всеволод не помянуты там, где сказано о беззакониях. А земле, разоряемой чужим народом, и людям, которых ведут в плен и убивают, мучают голодом и ранами, – им все равно, какое имя у князя. Все грешны – и князь, и люди, всем и отвечать.

– Не искушай Бога, Нестор. Святополк гневлив не меньше своего отца. Когда он прочтет это – не остановит его ни святость обители, ни слава о твоих прежних трудах. Берегись его!

– Отвечу тебе, княгиня, словами блаженного Феодосия, которые ты можешь прочесть в его житии, также мною писанном: подобает нам обличать вас и отвращать от злых помышлений, а вам надобно внимать этому и разуметь.

– Вон как ты заговорил, Нестор, – покачала головой княгиня. – Уж не Феодосием ли себя возомнил и князей поучать надумал? У него-то кротости поболее было.

– Перед княжьей яростью Феодосий не трепетал. И я не стану.

Гертруда попыталась зайти с другой стороны:

– Перепиши повесть, и я сделаю тебя епископом. Будешь возглашать поучения с архиерейского места.

– Не могу, княгиня.

– Митрополитом! Хочешь стать вторым Иларионом-митрополитом, великим книжником на Руси?

Инок оставил свою работу, вышел из-за стола и глубоко поклонился.

– Позволь мне быть первым Нестором, княгиня.

– Посмотрим, удастся ли это тебе, гордый монах, – в сердцах молвила княгиня, покидая книжню. – Бог гордым противится – знаешь?

Дверь хлопнула, сотряса стены. Чуть погодя в книжню проник Алипий, иконописец, писавший, когда было время, изображения в книгах.

– Ух! – сказал он, оглянувшись на дверь. – Осерчала княгинюшка. Чуть с лестницы не сверзился – так посмотрела. Чего она от тебя хотела, брат Нестор?

– Митрополитом предлагала стать, – улыбнулся книжник.

– Да ну? – рассмеялся Алипий. – И ты отказался?

– Отказался. Вот она и расстроилась.

Изограф уселся за свой стол и стал оттирать от краски отмокшие кисточки.

– А ты, брат, и не ведаешь, какие у нас нынче дела, – принялся он рассказывать. – Иду я ныне по двору между кельями и вижу – на земле сверкает горка золотых монет. Ты, конечно, скажешь, что это ангел Господень послал нам, бедным инокам, на пропитание. Я и сам так сперва подумал. Пошел к игумену. Там-то и выяснилось, что монеты упали не с неба, а из кельи отца Агапита.

– Да откуда у него золоту взяться? Агапит себе руку отсечет, а к злату-серебру не приронется.

– Это золото прислал ему черниговский князь в благодарность за исцеление. Агапит его с того света вынул своими молитвами.

– Добрая весть, – обрадовался Нестор. – Что ж Агапит – так и бросил золото посреди двора?

– Так и бросил. Думал, наверное, птицы склюют. Но теперь у игумена Иоанна есть золото, чтобы купить тебе, брат Нестор, потребный пергамен.

– А помнишь, отче Алипий, – задумался Нестор, – в житии Феодосия: «...облетела всех весть, что грозит блаженному заточение»? Может, и не понадобится мне этот пергамен. Княгиня грозилась гневом Святополка за мою повесть.

– Не унывай, брат. Князю теперь не до твоих писаний. Он ведь нынче женится.

Нестор не стал отвечать. Ему, напротив, хотелось, чтобы князь крепко запомнил его писания.

13

Место совсем не нравилось Добрыне. Плохое оно было и пахло нехорошо. Как будто и птицы тут не жили, и зверя лесного Добрыня не чуял. До сих пор, как выехал накануне лета из Ярославля, таких странных мест ему не встречалось, ни в глуши, ни вблизи селений.

Он остановил коня и принюхался. Слабо потянуло жильем. Только жилье это было... не совсем жилое. Такое уже попадалось ему – два дня и один день назад. Добрыня направил коня в сторону запаха и скоро выехал из леса к селищу. Дым из печных отводов не шел, низкие избы слепо шурились крохотными оконцами. Ни людей, ни животных. Тихо.

Два раза Медведь все же почувствовал направленные на него взгляды. Но показывать этого не стал. Здешние жители, кто б они ни были, его боялись.

Селище стояло у реки и еще совсем недавно обслуживало волоковую переправу, как и те, что встретились ему на днях. Теперь волок был заброшен, лодейные пути никто не расчищал, волокуши гнили у берега. На краю веси Добрыне попался скрюченный старик с топором в руках, первая живая душа.

– Дед, мор здесь был или что?

Старый то ли не слышал, то ли не хотел отвечать. Но зыркнул недобро. Посмотрев, как он рубит дрова, Добрыня подумал, что деду нетрудно будет зашибить и человека. Он повторил вопрос.

– Нету людей, нету, – проскрипел старик, замахиваясь на чурбак.

Добрыня повел коня вдоль реки. В нескольких днях пути она должна была впадать в большую реку. Та называлась Десной и, как он запомнил из объяснений ярославского посадника, текла на полдень, до самого Киева. Становилось парко. Добрыня сделал остановку, искупался, тщательно натершись прибрежным песком. Потом подкрепился вяленным мясом и снова сел на коня. Заснуть здесь он не решился. Проехав еще с версту, понял, что не ошибся.

Заливистый свист остановил коня. На пути у Добрыни встали люди. По их одежде – грубо выделанным шкурам – видно было, что живут в лесу. По злобным розам, кистеням и топорам в руках – что промышляют охотой на себе подобных. Он насчитал семерых впереди и пятерых обнаружил за спиной.

– Ну слезай, – сказал один, с мечом на поясе.

– Бойники? – Медведь с любопытством оглядывал препятствие.

– Они самые. Ну чего сидишь? Показывай, что у тебя в тороках.

Двое грабителей, лениво крутя кистенями, подошли ближе. С ухмылками поинтересовались:

– Что ж ты, мишка косолапый, без оружия ездешь? А зачем к коню бревно привязал?

Добрыня спрыгнул с седла и снял с ремней то, что они приняли за бревно. Это была боевая дубина в сажень длиной и полторы пяди толщиной в наверху. Он называл ее палицей, хотя она и впрямь больше походила на неровно отесанное бревно. Бойники присвистнули и переглянулись.

– Думаешь, тебя спасет этот прутик?

Добрыня отошел подальше от коня. Лесные люди с опаской окружили его.

– Воняет, – вдруг сказал Медведь, поведя носом.

– Чего?

– Человечиной воняет. Мыться вам надо.

– Ах ты, людоед мохнатый...

Добрыня грудью принял удар кистеня, поймал цепь и рванул на себя. Бойник, не успев выпустить рукоять, упал с разможенным черепом. Топор другого нападавшего воткнулся в дубину. Медведь выдернул его левой рукой и раскроил еще один череп. Двое бросились одно-

временно с разных сторон, высоко закинув кистени – целили в голову. Добрыня быстро присел, гири кистеней сплелись. Он бросил на землю дубину, растопырил руки, взяв обе цепи, и дернул. Один упал к его ногам. Добрыня наступил ему на шею и надавил до хруста. Дубину поднять не успел – на него мчался с топором следующий. Он увернулся от удара, наклонился, схватил бойника за ремень на поясе. Поднял, отбил им несколько ударов и метнул уже мертвого, сшиб двоих. В шею тяжело ударило. Медведь ощерился, взрыкнул, повторил прием с приседанием, схватил чьи-то ноги, раскрутил и отпустил. Тело с воплем улетело к дереву, зацепилось за поломанный сук. Добрыня поднял дубину и посмотрел вокруг. Оставались семеро.

Бежать они не хотели – не привыкли считать себя слабыми. К концу драки на земле лежало еще трое мертвых, один отлетел в реку и с тех пор не показывался, двое со стонами уползли в кусты. Последний, вожак с мечом, не участвовал в боине. Он попятился от взгляда Добрыни и быстро сказал:

– Я тебе не враг. Меня заставили.

Он подобрал валявшийся кистень и подошел к дереву, где хрипел разбойник, насаженный боком на сук. Удар свинцовой гири оборвал хрипенье. Затем главарь залез в кусты, а когда вышел, стонов оттуда уже не слышалось.

– Ну чего они будут мучиться, правильно?

Медведь наблюдал за всем молча. Вожак лесных людей ему не нравился. Он явно чего-то хотел от Добрыни.

– Я у них не главарь, – помотал головой бойник. – Главарь другой. Его кличут Соловейкой. Он огромен и силен. Что поперек скажешь – убьет на месте. С ним три сына. Остальные так – шелуха.

– А ты кто?

– Я?.. Я приبلудный. Можешь звать меня Блудом. Видел здешние волоки? Купцы сюда больше не суются. Если только совсем дурные. Соловейка скоро хочет уйти в другое место, здесь ему скушно стало.

– И сколько у него шелухи?

– Рыл полсотни. С этими. – Блуд показал на трупы. – Значит, меньше. Да баб с десятков. Рожают все время, – добавил он ни к селу ни к городу. – Младеней отдают Велесу.

До этого Добрыня слушал без интереса. Слова про Велеса разозлили его.

– Меня младенем волхвы тоже хотели отдать Велесу, – угрюмо проговорил он. – Посадник не дал.

Он пристегнул палицу к седлу.

– Со мной пойдешь или так скажешь, где живет Соловейка?

– С тобой пойду, чего ж. Один не управисься.

Блуд свистнул в два пальца. На зов из леса выбежал конь. Поехали сперва вдоль реки, после свернули в дебри. По дороге Блуд растолковал тут же придуманный план:

– Будешь ждать до ночи в лесу за тыном. Я вернусь, будто один спасся от тебя. За мертвыми никто не пойдет, кому они нужны. Скажу, что ты ушел. Ночью дам тебе знак. – Он два раза гукнул совой. – Перелезешь тын и проберешься к дубу, только чтоб неслышно. Засветло разгляди все, чтоб потом не зашибаться лбом. Дуб тоже разгляди. Соловейка на самом верху спит, у него там лежище. Серебро там же прячет. Пониже его сыновья, всю ночь стерегут – двое спят, один бдит. Возьми. – Он протянул Добрыне нож.

– Не надо.

– Ты что, на дуб полезешь со своим веслом? – обозлился Блуд.

Добрыня вытянул из голенища рукоять засапожника.

– Другое дело, – подобрел бойник.

Жилье лесных людей укрывалось посреди такого бурелома, что проехать и даже пройти, не зная хода, было невозможно. Оставшись один, Добрыня привязал коня, залез на дерево и

стал ждать темноты. Разбойное селище состояло из нескольких срубов, низких, утопленных в земле и крытых ветками. В стороне от них высился толстый дуб, далеко раскинувший мощные ветви. Сквозь густую листву едва проглядывали устроенные на разной высоте жила – дощатый настил и плетеные стенки. Селище окружал тын, на жердях скалились человеческие черепа. Добрыня до сумерек насчитал их более шести десятков. Вдалеке за тыном виднелось капище с деревянным идолом. Среди появившихся меж срубов людей Добрыня высматривал страшного Соловейку, но так и не увидел.

Уханье совы в темноте вырвало его из дремы. Перелезть тын и неслышно приблизиться к дубу было делом простым. Половину жизни проведя в лесу, Добрыня умел подбираться к зверю так, что тот хотя и чуял его, но не видел и не слышал. У дуба ждал Блуд. Наверху чуть теплился огонек, с неба светил месяц. Блуд тихонько свистнул два раза и позвал кого-то. В полу нижнего жила открылась дыра.

– Спустись, дело есть.

По веревочным ступеням вниз поползло бурчанье. В нос Медведю ударило острой человеческой вонью.

– Чего тебе, выб...к?

Ростом человек был с Добрыню, но в плечах уступал. Шагнув сзади, Добрыня зажал ему пасть и рывком своротил шею. Это потребовало усилия. Потом аккуратно уложил наземь. Блуд поднимался по лестнице. Залез в жило, что-то сказал. Дыра закрылась. Добрыня немного подождал и полез следом. Под самым настилом он стал возиться, издавая звуки. Дыра вновь отворилась, осторожно высунулась косматая голова, спросила:

– Приволок?

Добрыня нежно прижал эту голову к груди и дернул вбок. Тело наверху обмякло. Из жила донесся глухой удар, и все стихло. Блуд втащил мертвеца наверх. Туда же влез Медведь, кинул короткий взгляд на третьего, с окровавленной мордой лежащего на полу. Блуд для верности располосовал ему ножом шею, потом сделал Добрыне знак молчать. С верхнего жила не слышалось ни звука. Только ветер шелестел листьями. Лестницы туда не было.

Блуд замер, размышляя. Внезапно Добрыня ощутил, что кто-то рассматривает его. Этот кто-то был опасен. Волосы на загривке у Медведя поднялись дыбом. Он посмотрел вверх – щели в настиле были достаточно широкими для глаза. Блуд проследил его взгляд, метнулся к светцу и загасил огонь. Тотчас на Добрыню в кромешной тьме упало нечто. Оно бешено рычало и было такое тяжелое, что Медведь не устоял. Отбиваться он мог только одной рукой, вторую прижало к туловищу и стискивало, будто клещами. Из всех сил колошматя существо по морде, Добрыня понял, что оно крупнее его и сильнее. А кроме того, намного вонючее своих отпрысков. Когда весь воздух из груди выжало тисками, он вцепился в неохватную шею врага, сделал усилие и покатился вместе с ним к стенке жила. Ветки с треском проломились. Падая, Добрыня отсчитал головой четыре сука. При ударе о землю клещи разжались.

Медведь осознал себя стоящим враскоряку на мягком. Колени упирались в исполинское тулово бойника, а руки пытались стиснуть шею. Тут же он получил страшный удар в ухо, бросил затею с удушением и продолжил бить кулаками по голове. Увлечшись, не заметил, как оказался сброшенным на землю, а вонючий верзила, наоборот, уселся верхом ему на грудь. Хотя была ночь, он знал, что в глазах у него темным-темно. Вокруг раздавались крики, но он их почти не слышал. Соловейка держал мертвую хватку на его горле.

В то мгновение, которое Добрыня счел последним в жизни, он услышал хряпнувший звук. Лесной душегуб завалился. Затем среди воплей раздался голос Блуда:

– Теперь я ваш вожак! Меня слушаться!

Добрыня сел. В свете огня он увидел труп Соловейки с полуотрубленной головой. Даже ему это человеческое существо с башкой, как котел, сплюснутым носом и вывернутыми ноздрями показалось уродливым.

Блуд с мечом в руке наклонился к Медведю:
– Ты помог мне избавиться от отца и братьев. Я оставлю тебе жизнь.
Вслед за этим Добрыню оглушил удар дубины.

14

В яме было сыро и тесно, как в берлоге. Вдвоем разминуться можно было с трудом, втроем – невозможно. Но в яме сидели только двое. Отверстие наверху неплотно закрывали стволы вековых сосен. В проникавшем свете Добрыня рассмотрел второго: добрый молодец, ростом тоже немалый – с амбар, только исхудавший и грязный.

– Олекса, – уныло назвалса молодец. – Иду из Ростова в Киев.

– И давно идешь? – хмыкнул Добрыня.

– Три седмицы как не иду. Со мной еще девятеро были, по другим ямам. Вчера эти сказали, что их уже нет. Что с ними сделали, не знаю. Может, Велесу отдали. Или сами сожрали. – Олексу передернуло. – Сегодня или завтра придут за мной.

– Я тоже в Киев иду. Из Ярославля. К князю.

– И я к князю, – посветлел измазанным лицом добрый молодец. – На храбрскую службу.

– Позапрошлой зимой в Ростове волхва убили, – сообщил Медведь, подумав.

– Так это я его прибил, – приосанился Олекса, – чтоб людей к мятежу не подбивал. Так, тукнул слегка, из него и дух вон. Я вообще сильный. Не смотри, что худой.

– Я и не смотрю, – сказал Добрыня, оценивая высоту ямы. – Чего ж сюда попал?

– Так ты тоже попал. А на медведя-переростка похож.

– Меня мать от медведя родила.

– Да? – удивился Олекса. – А так бывает?

– От ведовства бывает. Медведь – Велесов зверь.

– Ну а я попович. Ушел из дома, чтоб не стать попом. Хочу князю стольнокиевскому служить да девок любить.

– Тогда надо выбиратьса, – сказал Добрыня, осматриваясь. – А то девки заждутся. И воняет тут.

– Я заберусь тебе на плечи и отодвину ствол. Потом добуду у них веревку и вытяну тебя. Медведь прижал поповича кулаком к стенке.

– На плечи тебе встану я. Потом вытащу тебя.

– Не возражаю, – буркнул Олекса.

Возражения у него появились после, когда Добрыня, поднатужась и упершись загривком, сдвигал дерево.

– Ну долго еще? – пыхтел попович. – Я уже по колено в землю ушел.

Сосна откатилась. Добрыня повис на другом стволе, раскачался и подбросил себя наверх.

– Посиди, пока я улажу дело, – сказал он в яму.

– Эй! – заорало оттуда. – Ты чего, леший волосатый?!

Яма была вырыта за пределами селища. Добрыня нашел щель между бревнами тына и пристроился наблюдать. По соседству с Велесовой кумирней было сложено высокое погребальное кострище. Возле ровным рядом лежали четыре трупа. Несколько баб выли, раздирая на себе волосы. По другую сторону от кострища вколачивали в землю два столба. Еще одна старая ведьма стояла чуть поодаль, в посконной рубахе, с распущенными седыми волосьями. Невидящими глазами она смотрела на столбы.

Пришел Блуд, стал распоряжаться. Мертвецов по одному вскидывали на кострище. Последним взвалили старого главаря – тяжелую тушу поднимали вдесятером. К столбам приколотили поверху перекладину. К ней ладили веревочную петлю. Большая часть бойников расселась на земле полукругом недалеко от кострища. Бабы ненадолго взвыли громче и вдруг умолкли. В полном безмолвии старая карга – Соловейкина жена, догадался Добрыня – подошла к воротам смерти, встала на обрубок бревна и надела петлю на шею. Затянув веревку, долго стояла, вглядываясь перед собой безумными глазами. Наконец Блуд вышиб бревно, карга

закачалась в петле. Подождав, новый главарь бойников обрезал веревку. Бабу уложили на кострище рядом с Соловейкой.

В быстро темнеющем небе загромыхало. Добрыня ненадолго отвлекся от зрелища, наведя к оставленному в лесу коню, взял палицу. Когда вернулся, бойники уже добыли трением погребальный огонь и поджигали кострище. Капавший дождь в несколько мгновений полил как из ведра. Лесные люди растерянно смотрели в небо, которое не хотело принимать умерших. Блеснула молния, раздавшийся грохот едва не обратил бойников в беспорядочное бегство. Они повскакали и закричали. Блуд что-то орал, показывая на жмущихся друг к дружке баб. Несколько человек подхватили одну и поволокли к виселице. Она упиралась ногами, распялив рот в крике. Ее быстро сунули в новую петлю и, не дав времени заглянуть через ворота смерти в загробный мир, повесили. Но небо не успокаивалось и гремело сильнее.

Блуд, оскальзываясь в грязи, яростно тащил к виселице третью бабу. Он почти дотянул ее и вдруг встал как вкопанный, в ужасе искривив морду. Под вспышкой молнии из ворот смерти шагнул Добрыня. Баба вырвалась и убежала. Взметнувшаяся дубина далеко отбросила Блуда, превратив его череп в месиво. Видевшие это бойники одеревенели.

– Теперь я ваш вожак, – повторил Добрыня слова Блуда. – Меня слушаться.

И стал распоряжаться.

Гроза быстро кончилась. Олексу, злого, чуть не утонувшего, вытащили из ямы. Для начала он попытался стукнуть Добрыню в зубы. Не преуспев, ошарашенно обозрел семь трюпов и виселицу.

– А что здесь было? – осведомился он удивленно.

– Долго рассказывать.

Пока кострище не просохло, Добрыня велел скинуть наземь тушу Соловейки. Потом потребовал топор и отрубил уродливую башку. Сунул в мешок.

– Зачем? – подозрительно спросил Олекса. Он уже отобрал у кого-то в избе вареный кусок мяса и алчно жевал.

– Для князя, – сказал Медведь, нисколько не сомневаясь, что князю это понравится.

Попович фыркнул. Добрыня задумчиво посмотрел на дуб и попросил Олексу:

– Слазь наверх, погляди, что там.

– А сам чего? – покосился на него попович. – Я к тебе отроком на посылках не рядился.

– Воняет там, – объяснил Медведь. – Не люблю этого. Найдешь серебро, скинь на землю.

Услышав про серебро, Олекса впихнул в рот остатки мяса и без слов потопал к дубу. Быстро взобравшись, исчез в листве.

– Е-есть! – раздался вскоре вопль, затем треск веток, и под дерево со звоном упал кожаный мешок. За ним прилетели еще два.

Разбойное население явило интерес. Добрыню спросили, что он хочет делать с серебром. Самозванный главарь бойников вдумчиво оглядел шайку.

– Каждый возьмет долю и – шась отсюда. Далек и насовсем.

Лесные люди загомонили, потянулись к мешкам. Добрыня развязал первый, стал щедро отсыпать в подставленные руки. Бойники дрались, ругались и требовали добавки.

– Зря ты так, – недовольно кривил губы Олекса. – Оно же награбленное. На нем кровь.

– Если не отдам, они будут злые, – объяснил Добрыня.

Два мешка опустели быстро. Кому не досталось, тем Медведь отсыпал из третьего. Бойники, попрятав серебро, не расходились – поглядывали на последний мешок, почти полный.

– А если прознаю, что опять промышляете лихим делом, – объявил Добрыня, – найду и порву в клочья.

Душегубы с ворчаньем разошлись. Добрыня отсыпал половину оставшегося серебра в пустой мешок. Бросил Олексе: «Твое». Побурчав, тот взял.

Напоследок Медведь сходил к капищу, выворотил из земли змебородый идол Велеса и долго бил по нему топором. Оттяпал деревянную голову, бросил к кострищу.

– Я не твой, понял?

Дорогу через лес Добрыня запомнил хорошо. Пока ехали сквозь буреломные дебри, Олекса молчал, пришибленно озираясь. Но едва выбрались к реке, язык у него опять развязался.

– Я тебе по гроб жизни... В первой же церкви поставлю за тебя толстую свечу. Никогда не думал, что попаду в такое. Ты меня от смерти спас. Без тебя я бы... Я, конечно, и сам бы мог. Только б из ямы вытащили, а там уж я бы показал им, где Перун зимует...

– Вымыться сходил бы, – оборвал его Добрыня, разводя на берегу огонь. – И одежду твою проварить надо. Я у бойников котел захватил.

Олекса захлопнул рот и, оголившись, посрамленно полез в реку. Долго отмокал, скребся песком до малинового цвета. Добрыня подвесил над огнем воду и тоже пошел искупаться. Попович, вынырнув, уставился на него.

– Это у тебя чего?

На широких плечах и спине Добрыни багровели страшные зарубцевавшиеся полосы, совсем недавние.

– С медведем поспорил, кто сильнее, – нехотя ответил он.

Олекса выбрался из воды, снял с груди темный серебряный крест и протянул ему.

– Будь мне крестовым братом, – попросил.

Добрыня взял крест и, подумав немного, повесил на шею рядом с большим желтым камнем, внутри которого сидел жук-навозник.

– Ладно, – сказал. – Только отдать нечем. Некрещеный я.

– Так ты что, ни в Велеса, ни в Христа не веруешь? – сильно удивился попович. – Как же ты собрался служить киевскому князю?

– А что – некрещеных не берут? – встревожился Медведь.

– Да как тебе сказать, – чесал в голове Олекса. – В язычестве погибать при княжьем дворе уже давно не принято. Дружина засмеет, князь косо смотреть будет и все такое. В общем, крестить тебя надо.

Добрыня опустил глаза на крест и вздохнул. В Велеса он верил. Если б не верил, стал бы по нему топором махать! Да и как не верить, если Велес от рождения считает его своим. Много всего в лесу показал, многому научил. Вот только не хотел Добрыня, чтобы кто-то считал его своим имуществом. А волхвов не любил за лютость.

15

Киевский воевода Путята Вышатич ехал широкой улицей к Михайловой горе. Лето выдалось паркое, назойливое, воевода то и дело смахивал пот со лба. Но пот не мешал зорко оглядывать стороны, проплывавшие мимо богатые боярские усадьбы. Попритихли нынче старые киевские бояре, усмехнулся Путята. Чуют, к чему дело идет, куда весы клонятся. Все реже теперь требуют от князя, чтобы советовался с ними, все чаще уверяют его в дружбе и преданности. Святополк же знай себе мотает бороду на палец, копит пыль и растрawляет крутой нрав. То-то еще будет. Оттого и воеводе надо держать глаза и уши настороже.

Впереди показался двор тысяцкого Яня. Хороши хоромы у братца, думал Путята, широко отстроился в стольном граде за двадцать лет, с тех пор как из Киева во второй раз выгнали князя Изяслава. Да неведомо, кому все это оставит.

Ворота Яневой усадьбы растворились, на улицу выехал с десятков конных. Путята остановил своих отроков, наострил очи. Заметив воеводу, те повернули в другой конец улицы.

– Это кто ж такие? – вслух размышлял Путята. – На дворских не похожи.

– Вроде сотские рожи, – подсказали дружинники.

– Вон оно что, – протянул воевода и сперва нахмурился, а затем вновь прояснел.

Он тронул коня и вскоре стучался в ворота усадьбы. Ему быстро отворили, но боярские отроки смотрели на воеводу с дружинниками неласково. Янь Вышатич вышел навстречу брату, обнял, повел в дом.

За угощением у обильного стола потек неспешный разговор.

– И ладные же, брат, у тебя хоромы, – отдуваясь от пота, говорил Путята. – Да по скрыням много имения хранится, по клетям и амбарам? А не ведаешь, кому все это отдать после себя? Слышно, щедрой рукой раздаешь свое добро монахам-пустозвонам. В Печерский монастырь сколь уже отдал, не считал?

– Не считал, и тебе, брат, не нужно тому счет вести. У тебя и своего имения немало, я чаю. А будет еще более. Верно ведь? – Янь Вышатич посмотрел на воеводу испытующе.

– Да и ты мое добро не считай, Яньша, – сморгнул Путята. – Что будет, то и будет. Мое имение от князя, а князь в своей воле. – Он помолчал и добавил веско: – И ты ему не мешай.

– Чем я могу помешать князю, если в его воле кормить свою дружину имением градских людей? – с горечью спросил тысяцкий. – Его отроки на горожан как на скот смотрят, пуще Всеволодовой младшей дружины. Я и тогда к князю подхода не имел, а нынче и подавно.

– Говоришь, не можешь помешать? – прищурился Путята. – А сотских для чего у себя собираешь? На праздничный пир или для иного чего? То-то они от меня рыла своротили, как увидели.

Воевода черпнул ковшом квас в братине и шумно отхлебнул. Затем поднял тяжелый взгляд на брата.

– Не препятствуй Святополку вымещать обиды на Киеве. Не добьешься ничего, только себе повредишь. Я за тебя вступаюсь, пока могу. Ну а будешь и далее тайно раздавать оружие градской тысяче – тут уж не взыщи, Яньша... Что, думал, не ведаю о том? Я, брат, нынче многое должен ведать, чтобы Святополку, как отцу его, Киева не лишиться, и мне заодно с ним.

Янь Вышатич молчал, глядя в стол и не притрагиваясь к обилью на столе.

– Набедовался Святополк при дядьях, – продолжал Путята. – Воли душенька его просит.

– Разбойной воли? – молвил слово тысяцкий.

– А хоть бы и такой... Жалеешь, что прогнали из Киева Мономаха? – спросил Путята и сам ответил: – Многие еще пожалеют. Но ты, Яньша, людей не вооружай, – предостерег он. – Иначе кровь польется.

– Кровью пугаешь, а сам готовишься ее лить, – грустно усмехнулся Янь Вышатич. – Я не для нападения людей вооружаю – для защиты.

– Я тебя упредил, а ты думай, – не внял Путята. – А чтобы тебе лучше думалось, скажу: про монаха твоего, книжного Нестора, я знаю. Что дорожишь им, знаю, и что у Чернигова в монастыре прячешь, ведаю. Святополк этого чернеца и поныне в злобе поминает. Жалеет, что ускользнул от него монах. Хотя княгиня Гертруда и утишает его пыл, но князь еще грозит заточить сквернописца в поруб. Понимаешь, куда речь веду, брат? – Путята допил квас, отер рукой усы и бороду. – Чернеца из обители вынуть да в Киев воротить – пустяшное дело. А перепрячешь его – опять найдем.

– Княгиня мудра, – спокойно и как будто невпопад отвечал тысяцкий. – Сложись у князей все иначе, я был бы с ней дружен.

Уста говорили одно, а думал он совсем о другом. В памяти встало упрямство книжника, не желавшего прятаться от Святополковой ярости. Чем старше и опытнее становился Нестор, тем менее его можно было в чем-либо переубедить. Втемяшилось ему в голову, что коли князь несправедливо гневается, то нужно пойти к нему в терем и там призвать к смирению и кротости. А не успокоится князь – так пострадать за правду. Ведь и блаженный Феодосий к тому же стремился, обличая в свое время князя Святослава, самозванно утвердившегося в Киеве. Но довод Феодосия тысяцкому удалось все же, с трудом, перекрыть доводом Антония. Пришлось напомнить книжнику о том, как блаженный Антоний согласился покинуть свою пещеру в монастыре и укрыться от княжьего гнева в Чернигове.

– Не святее же ты Антония! – чуть ли не сам гневался на монаха Янь Вышатич. – Его и Феодосий во всем слушался.

Против этого Нестору возразить было нечего.

Но даже не о том с тоской и болью думалось теперь тысяцкому. А Путята будто угадал его мысли.

– Да может, и не придется его ни выкрадывать, ни перепрятывать. У Чернигова половцы лютуют, слышно, и монастыри не обходят стороной. А, брат? – воевода наклонился, заглядывая Яню в глаза. Словно хотел уязвить его злой радостью. – Князю Мономаху нынче плохо приходится, как думаешь?

Путята кинул в рот медовую лепешку и засобирался. На прощанье сказал:

– Как бы, брат, твое имя, если сам не жалеешь добра, не отнял у тебя Святополк.

– Он и на это способен? – поднял голову Янь Вышатич.

– Научился у дядьев, отнимавших великое княжение, – отрубил Путята. Уже на крыльце терема прибавил: – А не то отдай на приданое племянке, моей Забавушке. Тебе отрада будет и ей веселье.

Проводив брата, Янь Вышатич вернулся в хоромы, потребовал у ключника пергамен и чернила. Написал письмо, кликнул со двора отрока:

– Стрелой лети в Переяславль. Отдай грамоту посаднику Душилу Сбыславичу.

...Половцы разоряли окрестности Чернигова пятый день. Налетали на села, хватили что глянется, вязали полон, оставляли после себя огонь. Врывались в христианские обители, грабили церкви, убивали и пленяли монахов, снова жгли. Хан Осолук, никогда прежде не бывавший на Руси, с жадностью смотрел на ее земли и грезил ее богатством. Русский князь, взявший в жены его дочь, сам отдал все это в руки хана. Добрый князь, щедрый князь, храбрый каган, пришедший издалека, из самой Таматархи, что на берегу моря, отвоевывать отчий град. За помощь в войне князь обещал хану много добра, много пленных рабов. Жаль, что князь не даст пожить в стенах города, когда войско возьмет его, – так уговорились. Зато позволит кормиться на обильной земле до осени. Князь жалеет отчий град, но ему не жалко прочей

русской земли для друзей-половцев. Ведь степные люди уже третий раз помогают ему в его войнах на Руси.

Хан, сощурился от солнца, смотрел, как гонят к броду через реку три сотни пленных русов. Там их примут погонщики рабов и степными путями поведут дальше, в становища, а затем еще далее – к греческим Корсуню и Суроужу, где торгуют рабами. Осолук довольно сморщился, засмеялся.

– Хорошо, что ты женился на моей дочери, – сказал он князю, стоявшему рядом, но смотревшему в другую сторону.

Олег Святославич, архонт Таматархи, Зихии и Хазарии, как сам величал себя, в раздражении глядел на деревянные стены Чернигова. Пятый день его дружина и отряд половцев не могли взять даже малый вал, окружавший внешний город. Воины Мономаха и градские ополченцы сражались так яростно, что со стен временами слышался львиный рык. Такой же издавали в клетках два льва на Родосе, во дворце патриция Музалона.

– Да, хорошо, – рассеянно отозвался Олег.

Его дружина потеряла сегодня на валу еще полсотни человек. Выступая с ратью из Тьмутаракани, он и не рассчитывал, что Мономах устрасится орды половцев и уступит ему княжение, как уступил Святополку. Но человек, приехавший в Тьмутаракань весной, заверял, что черниговская дружина сейчас невелика и что Олег, придя к городу, получит помощь откуда не ждет. Олег не ждал помощи ниоткуда – она и не приходила ниоткуда. А Мономах будто врос в этот город.

Князь взлетел на коня.

– А что, Осолук, не повеселиться ли нам? Если Владимир не хочет порадовать нас, так порадуем его благоверную душу!

– Как, князь, порадуем? – глаза хана заблестели. Он тоже оседлал коня.

– Много ли монастырей спалили твои люди?

– Много, князь. Пять или шесть. – Осолук показал на пальцах.

– Вон там, за лесом, – Олег махнул на Болдины горы, – есть еще один. Не хотел я его трогать, да теперь придется. Может, сжалится наконец брат Володыша над чернецами? Он ведь так любит их.

Два десятка дружинников и малый отряд половцев поскакали к холмам.

– Почему не хотел трогать, князь? – осклабясь, спросил хан. – Там много золота и серебра, хотел оставить себе?

– Ты не поймешь, Осолук. Ты сыродец и поганый язычник. А обитель ту создал Антоний Печерский, когда жил здесь. Мой отец почитал его как блаженного светоча Христовой веры.

Взобравшись на гору, отряд подъехал к воротам ограда. Обитель была небольшой, пряталась за некрепким тыном, зато церковь тут стояла такой красоты, какую не во всяком каменном храме обрящешь. Множество маленьких главок словно взбегали по ней к небу, каждое оконце изузорено на свой лад, а стены украшены резными ангелами и святыми. Видно было, что трудились искусные мастера-древodelы.

– Такое и губить жалко, а, князь? – хитро спросил Осолук.

Олег велел ломать ворота, мрачно наблюдая с седла поверх тына, как закопошились и забегали чернецы. Половцы первыми ворвались на двор. Стегая плетками монахов, пошли по кельям, на конях заехали в церковь, с кличем бросались на поживу. Дружинники ловили напуганных чернецов и сбивали в кучу перед князем. Вот поймали у келий одного за шиворот, но он вдруг вывернулся, крикнул сердито кметям и зашагал напрямиком к Олегу.

– Отец твой не таков был, – еще издали услышал тот, – и на святые обители руку не поднимал, а напротив, строил их и украшал. Побойся Бога, князь! Ведаешь, как уже прозвали тебя на Руси? Гориславичем! Одно горе от тебя земле русской и людям.

Чернец приблизился и смотрел на Олега жгучим взглядом.

– Так уж и одно горе? – опешил князь. Под напором монаха он стал оправдываться: – Святые обители и я почитаю. Не сыроядец же я. А отдал монастыри на сокрушение, чтобы восстановить правду. Ведь и Богу на небе тошно, когда на земле творится неправда. Князь Мономах не по правде занимает черниговский стол. Его отчина – Переяславль, а моя – Чернигов. Здесь сидел на столе мой отец, здесь и я хочу княжить.

Конный кметь снова взял монаха за шиворот и попытался укротить.

– Правды не убийством добиваются, а миром, – пыхтел полузадушенный чернец. – Пойди к князю Владимиру и скажи ему свои обиды. Он ведь мирил тебя со своим отцом и теперь с собой помирят.

– Отпусти его, – приказал Олег дружиннику и спросил с усмешкой: – Как звать тебя, настырный монах?

– Нестор-книжник, – ответил тот под хохот дружинников, поднимаясь с земли, куда уронил его кметь.

– Книжник, говоришь? – князь задумался. – А что, книжник, заключим с тобой ряд? Если помиришь меня с Мономахом и Чернигов будет моим, оставлю твой монастырь в целости, верну добро, – он повел пальцем на орудующих половцев. – Ну а не помиришь и не склонишь братца к уступке – сожгу без жалости, монахов уведут в степи, а тебя... тебя велю высечь за дерзость и подвешу за ноги к дереву. Будешь висеть, пока дух из тебя не выйдет. Согласен?

– Согласен, – не раздумывал Нестор.

– Ты слышал, хан? – весело обратился Олег к половцу. – Может, это и есть та помощь, которой я не ждал? Останови своих людей, Осолук! Скоро Чернигов будет мой, ведь так, черноризец?

Нестор не ответил на насмешку.

Степняки, услышав приказ хана, зло побросали добычу, а часть припрятали за пазухами, затоптали огонь, который собирались кинуть в церковь, влезли на коней. Чернецы крестились и воздавали славу Господу. Нестора посадили на круп коня к одному из дружинников.

– Молитесь обо мне, братия! – крикнул он на прощанье. – О Руси молитесь!

16

Посольство должно было отправиться к городу на рассвете. Вместе с чернецом Олег снарядил своих бояр Колывана Власыча и Иванко Чудиновича. Но упрямому монаху этого показалось мало.

– Без тебя, князь, не пойду.

– На попятную пошел, чернец? – нахмурился Олег.

– Если уж мирить вас, так лицом к лицу. Или боишься?

– Князь! – вспылал боярин Колыван. – Повесь его сразу за ноги, как обещал, за такие слова.

– Хорошо, я поеду, – решил Олег. – Но язык свой ты придержи, дерзкий монах.

– Не езд, князь, – раздался суровый голос. В шатер, где шел совет, откинув посохом полог, шагнул волхв.

Откуда он приبلудился, никто не знал. Просто пришел и остался при князе. Во время боев у стен города стоял на холме, будто вытесанный из камня идол, и смотрел. На ветру шевелились только длинные волосы и расшитая знаками рубаха. Вечерами он являлся в княжий шатер и говорил, что боги даруют Олегу победу над Мономахом. Иногда его видели сидящим на камне в высокой траве с гуслиями на коленях. С закрытыми глазами волхв трогал струны и что-то пел, беседуя с богами. Князю он назвал свое имя – Беловолод.

Кинув на монаха огненный взор, волховник продолжал:

– Чернец хочет хитростью отдать тебя в руки твоего врага, князь. Мономах убьет тебя так же, как проклятый богами князь Владимир, поправший нашу веру, убил своего брата Олега древлянского, заманив к себе в терем.

– Какую веру ты называешь нашей, волхв?! – с жаром спросил Нестор, обличая его перед всеми. – Никто из здесь сидящих к твоей ветхой вере не принадлежит! А хитрость и ложь – это твое оружие, кудесник. Если тебе, князь, случится какое-либо зло от Мономаха в городе, я выйду к твоей дружине и пусть меня распнут на дереве! Что же до великого князя Владимира Крестителя, то тебе, волхв, следует лучше знать былинные песни. Не Владимир убил Олега древлянского, а старший брат, Ярополк, начавший распрю. Его-то и постигло возмездие в тереме Владимира от мечей варягов. Сам же Владимир каялся потом в своем грехе и омыл его святым крещением.

Бояре посмеивались в бороды – волховник, Велесов внук, не знает наизусть былинных песен! Князь крутил ус, тоже скрывая усмешку. Посрамленный кудесник стукнул посохом о землю.

– Приду посмотреть, как тебя вывесят на дереве, чернец, – проскрежетал он, покидая шатер.

Едва солнце раззолотило небо над полем у Чернигова, из стана выехал малочисленный отряд во главе с князем. У городских ворот Олег протрубил в рог. Еще накануне Мономах был извещен гонцом, что Олег желает мирно говорить с ним. Ворота без промедления открылись. Посольство вступило в окольный град Чернигова. В сопровождении дружинников Владимира оно достигло детинца. Здесь двоюродного брата встречал сам князь в золоченом плаще-корзне и шапке, сверкающей камнями. Олег пытался прочесть на его лице хоть какие-то чувства, но оно казалось совершенно бесстрастным. Чего не сказать было о Мономаховых боярах – на их лицах царил смешение мыслей и чувств. Уже одним этим архонт Таматархи остался доволен.

– Обниматься не будем, брат, – предложил Олег.

– Пожалуй, рано нам обниматься, – согласился Владимир и сделал свое предложение: – Помолишься со мной в храме на службе?

– Я пришел к тебе не за тем, чтобы стоять в церкви. За меня он молится. – Олег с вызовом показал на конного монаха позади и со злой усмешкой прибавил: – Молитва чернеца скорее до Бога дойдет, чем молитва князя Гориславича, ведь так?

Мономах, увидев Нестора, едва заметно пошатнулся в седле. Олегу поблазнилось даже, будто он побледнел.

– Что ж, ты правильно выбрал ходатая за себя, – молвил Владимир.

Посольство двинулось к княжьему терему. Эти каменные хоромы – от нижних подклетей до самой кровли – были знакомы Олегу с детской поры. Здесь почти двадцать лет княжил его отец, князь Святослав, до того как изгнал из Киева старшего, Изяслава, сел на великом столе, а через три года умер. Сюда же пытался вернуться позже сам Олег, воюя ради этого с князем Всеволодом. Но тогда все кончилось неудачей у Нежатиной Нивы. Теперь он намерен был исполнить свою давнюю грезу.

Гостей пригласили на утреннюю необильную трапезу. За столом Мономах вспомнил к слову давнюю дружбу с Олегом и совместный поход в Чешскую землю против тамошнего князя Вратислава. И как привезли они из того похода тысячу гривен серебра и много иных даров, взятых за мир с чехами. И как после этого Олег стал крестным первых двух сыновей Мономаха. Архонт Таматархи, слушая, отмалчивался.

После трапезы перешли в широкую светлую палату, где, по памяти Олега, его отец собирал бояр для совета. Здесь уже он взялся за воспоминания. Как Всеволод не желал отдать ему город его отца. Как во время ссоры здесь же, в Чернигове, хотел даже заточить его и Олегу пришлось бежать в Тьмутаракань. И как позже, после битвы на Нежатиной Ниве, тьмутараканские хазары по наущению Всеволода повязали Олега и отправили в Византию, где он на четыре года стал пленником императора, пусть и почетным.

– А кого ты оставил вместо себя в Тьмутаракани? – вдруг спросил Мономах.

Олег замялся с ответом.

– Архонтиссу Феофано Музалон, мою первую жену.

– Ты отдал княжение бабе? Гречанке?! Разведенной?! – задохнулся от изумления Владимир.

– С ней посадник Орогост, – уязвленно пробормотал Олег.

– Орогост, – голос Мономаха потеплел. – Я знал его. Добрый воин и советчик.

– Хватит о Тьмутаракани, – раздраженно оборвал его брат. – Этот город, замурованный в камень и просоленный морем, осточертел мне. Я пришел говорить о Чернигове. Ты отдашь его мне?

– С какой стати?!

– Он мой по праву! Я старше тебя. Твоя дружина мала, а у меня под рукой много степняков. Они будут разорять и жечь эту землю, пока я не сяду на стол Чернигова. И... А с какой стати ты уступил Святополку Киев, а мне не хочешь? – возмущенно выкрикнул Олег.

– Это мое дело, – набычился Владимир. – И откуда тебе знать, какова моя дружина?

– Чернигов обещан мне, – выдал последний довод архонт Таматархи: – Многими!

– Ого! – изрек Мономахов воевода Ратибор, до того казавшийся безучастным. – Кто же эти многие?

– Да хоть он. – Олег кивнул на чернеца.

Нестор поднялся.

– Князь, – сказал он Мономаху, – тяжело мне во второй раз обращаться к тебе одну и ту же просьбу. Бог испытывает тебя в любви и вере. И если решишься отдать Чернигов брату, Господь поцелует твои намерения. Пощади христианские души, гибнущие напрасно. Сжался над людьми, угоняемыми в рабство, и селами горящими. Пожалей чернецов Божьих, терпящих надругания, и церкви святые, оскверняемые погаными. Победи жестокосердие кротостью.

Пусть не похваляются язычники одолением христиан! И пусть люди русские увидят, что ты защитник их.

Мономах сидел белый, как яблоневый цвет.

– Вновь напомню тебе о святом князе Борисе, – тихо продолжал Нестор. – Ради любви уступи старшему брату. Одним твоим словом сотвори мир в русской земле.

После долгой тишины прозвучал голос черниговского князя, полный грустной насмешки:

– Думаю, уж не начать ли мне бояться тебя, Нестор. Твои слова, как нож под ребро.

– Дружина и впрямь мала, князь, – громко произнес воевода. – А за седмицу стала еще втрое меньше.

Мономах метнул в него злой взгляд. Олег, напротив, заинтересованный.

– Помолчи, Ратибор.

Владимир встал.

– Свое слово скажу завтра.

– До завтра не буду воевать, – принял условие Олег.

Остаток дня Мономах провел в одиноких думах. Ни к обеденной, ни к вечерней трапезе не вышел. Впустил в горницу только Марицу, поскребшуюся в дверь. Жена утешала, как умела – ласкалась, обнимала тонкими руками.

– Ишь, ненасытная, – усмехнулся князь, отлепляя ее от себя. – От родов только оправилась.

– Как еще порадовать тебя? – удивилась она.

– Порадуюсь, когда на Руси будет радость, – мрачно ответил Мономах. – Братьям моим радость – их неразумие. Мне же о людях думать надо.

Вечером он позвал боярина Георгия Симонича. В руках князь держал меч в дорогих стальных ножнах, украшенных золотым узором. Ножны были новые, а меч – старый, сработанный давным-давно, с рукоятью в форме креста.

– Об этом мече, – сказал Владимир, – мы поспорили когда-то с твоим старшим братом. Из-за того спора он погиб. А ты назван Георгием в его честь.

– Знаю, князь. Меч святого Бориса. Отец рассказывал мне.

– Да. Завтра день памяти святых князей Бориса и Глеба.

Мономах задумчиво рассматривал клинок.

– Что ты решил, князь? – в нетерпении спросил молодой боярин.

Владимир тронул металл и тут же отдернул руку. Удивленно воскликнул:

– Он горячий, Георгий!

Боярин прикоснулся к клинку, провел пальцем по долу.

– Он холоден, как всякий металл, князь.

– Посмотри, это ожог! – Мономах сунул ему под нос палец. – Меч раскален, будто лежал на жаровне.

Георгий в замешательстве не знал, что ответить. Князь задвинул клинок в ножны. Постоял с закрытыми глазами, словно прислушивался.

– Он как будто всю душу мне прожег. Понимаешь, Георгий?

На рассвете ворота Чернигова вновь открылись. Дружина Мономаха покидала город – около двух сотен мужей и отроков при оружии, с женами, детьми, челядью и скарбом в обозе. Впереди ехал князь, как и накануне – в золотом корзне, в шапке с драгоценными камнями. По сторонам от него отроки держали хоругви и князьи стяги. К поясу Мономаха был пристегнут меч святого Бориса.

В полном безмолвии обоз двигался к броду через Десну. С невысоких холмов, меж которыми пролегал путь, на исход смотрели ратники Олега и половцы. К Мономаху подъехал боярин Дмитр Иворович.

– Будто волки облизываются на нас поганые. Так и слышу, как они зубами щелкают. Как думаешь, князь, не разорвут они нас по дороге? За одну твою шапку перегрызутся!

– С нами Бог и святой Борис. Не выдадут на поживу – так и свинья не сожрет.

Мономах вытянул из ножен меч, поднял клинком вверх. Солнце заиграло на чищенном до блеска металле.

– Слава князю! – гаркнул Дмитр Иворович, обернувшись к дружине.

– Слава князю! – тотчас поддержали его две сотни глоток.

Взвившись в небо, крик достиг Олега, во весь опор скакавшего к городу.

– Слава Мономаху! – радостно засмеявшись, сказал он себе под нос.

17

– Вот он, град Чернигов! – выдохнул Олекса, сойдя с коня.

С холма через Десну открывался обширный вид на древний город, не так давно еще, во времена князя Мстислава Храброго, соперничавший с Киевом. Да и теперь, вероятно, хотя и приутих, но не совсем забыл свои притязания зваться стольным градом великого княжения. Олекса перекрестился на сияющие главки собора Спаса Всемилоостивого, отвесил глубокий поклон.

– Отсюда до Киева уже недалеко. Дня два пути.

Добрыня, не слезая с коня, водил головой из стороны в сторону.

– Кровь чую. Смерть.

– Где? – дернулся Олекса.

– Не знаю. Везде.

Попович забрался в седло. Вытащил из налучья лук, купленный в городке по пути, надел тетиву. Проверил, легко ли выходят стрелы из тулы.

– Не нравятся мне эти твои чуанья, – ворчал он. – Все время ты чего-то чуеть. То волка, то мертвеца у дороги. А никакого волка я там не видел, и мертвеца мы не нашли, хотя все вокруг обрыли.

– А мне не нравится, как ты стреляешь из лука, – невозмутимо ответил Добрыня. – Зачем он тебе, если попадаешь через раз? В девок хоть метко попадал?

– Ишь ты, – бурчал Олекса, – медведь разговорился. А я думал, у меня одного язык без костей.

Они спустились с холма и поехали не по прямой, огибая другую высоту, стоявшую на пути. Добрыня держал нос по ветру, хмурил мохнатые брови. Олекса болтал без удержу – рассказывал о ростовской жизни, но тоже цепко поглядывал окрест.

– Слышишь? – спросил Добрыня, останов коня. – Оружие звенит. Люди бегут.

– Ничего не слышу, – недоверчиво сказал Олекса и осекся.

Из-за холма впереди показались люди. Их становилось все больше. Они были безоружны и бежали в страхе. Руки у всех были связаны. Сначала они двигались плотной толпой, затем бросились кто куда – к реке, к перелеску. Иные неслись вперед, что-то кричали. Олекса изда- лека не мог разобрать слов.

– Вот это да, – пробормотал он. – Никогда не видел такого. – И заорал вслед Добрыне, пустившему коня вскачь: – Подожди меня!

Поток беглых пленников иссяк. Теперь Олекса ясно слышал звон близкого боя. Наконец холм отодвинулся вбок, и он увидел странную сечу. Отряд конников в нерусском облачении, в шлемах с хвостами, торчавшими из наверхий, теснился вокруг единственного противника. Тот ловко крутился в седле, уворачивался от ударов кривых мечей, каких попович никогда не видывал. Сам рубил направо и налево, скашивал врагов, как косарь траву. В локтях пониже кольчужных рукавов из него торчало по стреле. Еще одна попала в бедро и, видно было, сильно мешала. Чуть поодаль от сшибки в русича целили из луков. «Половцы!» – осенило Олексу.

Добрыня с рычаньем несся на степняков, держа наготове свою дубину. Попович рывком остановил коня.

– Так не пойдет, – сказал он и натянул стрелой тетиву, выцеливая лучников.

Первым ударом Добрыня вынес из седел двух куманов. Для второго удара размах был меньше, с переломанным хребтом на землю полетел лишь один половчин. После этого Медведь стал мерно колотить дубиной по плечам и хвостатым шеломам, как бабы по белью на портомойне.

Следить за сечей Олексе было некогда. Когда его стрела вонзилась в щеку одного из лучников, он издал восторженный клич. Быстро наложил другую, заметил, что в него тоже целят, ударил коня пятками.

– Святой Георгий, помоги сразить аспида! – завопил попович, едва не сверзаясь наземь. За коня он держался только ногами, а стрелять на скаку никогда не пробовал.

Поэтому удивленно смотрел, как вываливается из седла степняк с его стрелой в горле.

Последний лучник не стал пытаться судьбу и поскакал догонять остатки половецкого отряда, бежавшего с поля битвы. Олекса радостно свистел им вслед.

– Медве-едь! – весело орал он, скача к месту сечи. – Мы сражались с погаными! Мы их одолели!

Спрыгнув с коня, он полез к спешенному Добрыне обниматься. Тот отмахивался, глядя, как княжий дружинник с гривной на шее, видной из-под кольчуги, выдирает из себя стрелы.

– Вы кто ж такие будете? – спросил старый воин, берясь за третью стрелу, в бедре.

– Мы – храбры, – гордо сказал Олекса и назвал имена. – Идем рядиться в киевскую дружину.

– Ну а я Душило из Переяславля, по прозванию Моровлянин.

Наконечник стрелы засел глубоко в ногу. Нужно было резать плоть, чтобы достать его. Душило обломал древко и, хромя, пошел к Добрыне.

– Спаси тебя Бог, – сказал он, обняв.

Из рощицы неподалеку прискакали двое оружных холопов, с запасным конем в поводу. Спешившись, стащили с хозяина длинную кольчугу.

– Зачем твоим холопам мечи, если они боятся боя? – спросил Олекса.

– Я не велел им соваться. Да и вам, молодняк, не стоило. Прежде чем лезть в чужую драку, надо спросить разрешения у старших. Понятно?

Попович возмущенно фыркнул.

– Это что ж за оружие? – Душило посмотрел на дубину Медведя. – Сколько живу, такого не видал.

– У нас в Ростовской земле все такими бьются, – вызывающе рек Олекса.

– Бывал я в Ростовской земле, – с улыбкой молвил Душило. – Видно, с тех пор там многое изменилось.

– А как же! – моргнул попович.

Один из холопов туго перетянул Моровлянину руки, останавливая кровь, наложил временные повязки.

– Вот. – Олекса кинул на землю мешок и развязал. – Гляди, какого мы соловья добыли в вятических лесах.

Ему хотелось, чтобы старый княжий дружинник, по виду так вовсе боярин, был изумлен и потрясен. Чтоб знал, какие в Ростовской земле бывают храбры, и заткнул бы свои нравоучения за пояс. Но Душило, внимательно рассмотрев голову Соловейки, удивляться не стал.

– Вот она, звериная Русь, – произнес он задумчиво и повернулся к Добрыне: – Ну а ты какого роду-племени?

Олекса открыл рот – хотел опередить крестового брата, чтобы не ляпнул чего-нибудь. Не успел.

– Того же самого, – глухо отозвался Медведь.

– Понятно, – сказал Душило, закрыв ногой мешок. – Так, Соловей, значит? На дубах сидел?

– На дубе.

– Одной заботой князю меньше, – кивнул Моровлянин. – Князю Мономаху, я говорю. Ростовская земля в его владении. А этот, – он пнул мешок, – залегал пути туда. Хотите доб-

рый совет, храбры? Идите до Переяславля, там рядитесь в дружину Владимира Всеволодича. У киевского князя заботы нынче другие.

– Стольнокиевский князь – всей Руси держатель и сберегатель, – вдохновенно изрек Олекса, сдвинув брови, – покоряющий себе иные земли – какие миром, а какие мечом. Пошто срамишь его перед нами?

Душило на мгновение остолбенел, затем спросил:

– У вас в Ростовской земле все такие?

– Почти, – буравил его глазами попович.

– Это хорошо, – подумав, ответил боярин и пошел к своему коню. – Мне на тот берег. Вокруг беспокойно, половцы по земле рыщут. Лучше вам со мной идти. Здесь недалеко монастырь. Я оттуда кое-кого заберу и поеду обратно через Киев.

– А нам тоже в монастырь надо, – быстро сказал Олекса, кинув взгляд на Добрыню.

Медведь молча подвязывал к седлу дубину.

До монастыря на залесенной горе доехали, никого более не встретив. Казалось, земля замерла и притихла после недавнего содрогания от ужаса и плача о своих детях. Но покой ее был настороженным и чутким, готовым вновь перейти в стоны.

– В лесу прячутся люди, – повестил Добрыня, вслушиваясь в птичьи звоны.

В обители тоже искали убежища смерды из окрестных сел. С потухшими взглядами они бродили по двору, сидели под тыном, бабы и девки, сбившись в круг, не то пели тягуче, не то выли. Два чернеца обходили всех с мешками, совали каждому в руки кусок хлеба.

– Целы-здоровы, братия? – зычно спросил Душило. На его голос отовсюду – из келий, амбаров, мыльни и хлебни – повысовывались иноки.

– Молитвами брата Нестора живы и целы, боярин, – ответили ему с поклоном. – Если б не он, шли бы мы сейчас с веревкой на шее в степи незнаемые, к сыроядцам поганым.

– А где ж сам он?

– Да в келейке своей, над пергаменом корпеет.

Душило попросил показать ему келью книжника, но, сделав два шага, вдруг сел на землю.

– Не могу. Вытащите из меня, братия, клятую железку. Да меду бы испить.

Пока спешно призванный монах-лечец занимался раной боярина, Олекса погулял по двору, полюбовался узорной храминой. Потом остановил чернеца, самого благообразного с виду.

– Отче, нам бы крещение принять.

– А много вас? – осведомился инок.

Попович взглядом показал на Добрыню, занятого конем.

– Много, – согласился монах. – По силушке десятерых стоит?

– Со мной – трех дюжин.

– Покрестим, – обещал чернец.

От келий к дружиннику, скрипящему зубами, скорым шагом приблизился невысокий монах с гладко зачесанными назад волосами. Руки у него были перепачканы чернилами.

– Душило! Ты ранен?

Лечец щипцами вытянул наконечник стрелы и бросил в подставленную ладонь боярина.

– Несколько лишних дырок в решетке, – пожал плечами Душило. – О твоих подвигах я также наслышан, Нестор. С князем в пути повстречался. С досадой он о тебе отзывался.

– Ничего, перемелется его досада, мука для хлеба будет, – благодушно молвил чернец.

– А я ведь за тобой приехал, Нестор. Собирайся в Переяславль.

– Что мне делать в Переяславле? – опешил книжник.

– Пергамен марать, что ж еще. Не веретеном же трясти.

– Не поеду.

– Янь Вышатич прислал мне грамоту, чтоб я тебя любым средством отсюда выволок. Хоть связанным и в мешке.

– Да какой же я после этого монах? – сердито воскликнул Нестор. – Туда и сюда все время разъезжать – это уж не монах, а бродячее недоумение!

Лечец наложил на рану повязку с целебной мазью. Душило поднялся с земли, потопал ногами. Принял от послушника жбан меда и весь опрокинул в себя.

– Это какой Янь Вышатич? – спросил Олекса, подходя ближе. – Не тот ли, что некогда посрамил мятежных волхвов в Ростовской земле? Да разве он жив еще?

Книжник и боярин дружно повернули к нему головы.

– С чего бы ему помереть? Янь Вышатич крепко скроен. В Киеве тысяцким служит.

– Я думал, – возбужденно произнес попович, – в летописец живым не попадают. В летописце же о нем писано! «Временник, иначе летописание князей и земли русской...» Я читал! Епископ Исаяя привез эту книгу в Ростов.

Душило так громко расхохотался, что праздные монахи, стоявшие вокруг, разошлись, осеняясь крестами. Книжник добро улыбался.

– Слышишь, Нестор, – колыхался от смеха боярин, – наш Вышатич теперь не живой и не мертвый, а бессмертный. Не Божьей милостью, а твоей!

Олекса раздумялся.

– Ты тот книжник, что создал летописец?

– Летописец написал мой наставник, игумен Никон, – ответил Нестор. – Я добавил лишь немного. А если Бог даст, вскоре хочу восполнить его.

Попович неожиданно поклонился монаху до земли.

– Отче, – сказал он, – великую любовь к Русской земле вложил мне в сердце этот летописец. Из-за него и в Киев иду, на князя посмотреть и себя показать, Руси послужить.

– В Переяславль тебе надо, отрок. – Душило стер с лица смех.

– Со мной Добрыня, а ему такой город не ведом, – схитрил Олекса.

– Ну, – молвил старый дружинник, – в общем, собирай свои пергамены, Нестор. Поутру выезжаем.

– Погодите! У нас дело безотлагательное – Добрыню крестить. – Попович умоляюще смотрел на книжника. – А с тобой, отче, хотя б до Киева доехать, рассказы твои послушать.

– Повременим, Душило, – ласково попросил Нестор боярина.

– Меня посадник не велел крестить, – на всякий случай предупредил Медведь.

– Дурак твой посадник, – отозвался Душило. – А почему?

– Я от волшбы рожден. Волхвы говорили, я – Велесов.

– Христос на твоего Велеса плюнет и разотрет, – заверил княж муж. – А волхвам мы еще с Янем Вышатичем бороды выдирали на Белоозере.

– Недовыдрали, – буркнул Добрыня.

18

После вечерней трапезы с разрешения игумена сидели вчетвером возле кельи Нестора. В самой келье – рубленой клетки – не поместились бы. Душило едва пролезал в дверь, о Медведе и говорить нечего. Книжник и Олекса притулились на крылечке, боярину вынесли скамью. Добрыня уселся на земле.

Нестор расспрашивал поповича о Ростове, откуда и сам был родом. Вызнал, помнят ли там о епископе Леонтии, принявшем муку и смерть от язычников, в чести ли держат его могилу. И все ли еще стоит в Чудском конце каменное идолище Велеса. И шумят ли по временам волхвы, баламутя людей. Потом перешел к мирским делам: ладно ли течет жизнь в Ростове, богатеет ли торговля, часто ль купцы ходят к Хвалисскому морю и далее торговать с сарацинами. Посылают ли посадники отроков, по примеру ушлых новгородцев, разведывать новые земли и неизвестные народы на восход – далее черемисы и прочей ростовской чуди, далее болгар. Под конец стали перебирать ростовскую родню. Нестор помянул прадеда, дружинника святого князя Бориса ростовского.

– Как говоришь, отче, было имя твоего родителя?

– В Киеве его звали Захарья Ростовчанин.

Олекса стукнул себя по коленям.

– Ну а в Ростове его звали Захарья Киянин. Он пришел из Киева с женой и двумя детьми на будущий год после мятежа тех волхвов, которых извел Янь Вышатич. И помер лишь недавно.

Нестор повздыхал, крестясь и смахивая слезы.

– Не ведаю даже, простил ли меня отец за уход из дома. Хорошо ли ему жилось в Ростове?

– Торговлю со временем широко поставил. С сыном его Доброшкой мы в отрочестве разбивали друг дружке носы. Я хоть и младше, но спуску ему не давал. Теперь он здоровый мужичина, ведет отцову торговлю, семьей оброс.

– Слава богу, – прогудел Душило. – А-то я ведь думал – помру, так и не отдам Захарье долг. Думал, он из-за меня по миру пошел. Теперь гонца в Ростов пошлю, свалю груз с плеч.

Олекса светился от счастья и гордости, что принес столько пользы обоим. Но ему не терпелось говорить о другом.

– Отче, скажи, почему в летописце так мало писано о князе Ярославе? Митрополит Иларион в своем золотом «Слове о Законе и Благодати» назвал этого князя украшением престола земли Русской. Отчего не украсить и летописец его деяниями?

– Игумен Никон, мой учитель, ответил бы тебе так: поспешай медленно, отрок, – с улыбкой молвил Нестор. – Будет и в летописце похвала великому князю.

При имени Ярослава Добрыня насторожился.

– Поведай, отец, – смущенно попросил.

Нестор сходил в келью, вынес лист исписанного пергамена. Изредка заглядывая в него, повел сказ:

– Когда Ярослав был в Новгороде, пришла весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал многих воинов, варягов и словен, и пришел к Киеву. А печенегов было без числа. Князь исполнил дружину и встал перед градом. Печенеги пошли на приступ, и была сеча жестокая на месте, где ныне стоит Святая София, митрополия русская, а тогда это было поле за городом. И едва к вечеру одолели русские полки поганых. Побегали печенеги. Одни, убегая, утонули в реках, а остаток их бегают где-то и донныне, если не всех перебили три года назад теребовльский князь Василько с половецкими ханами. А на месте битвы Ярослав заложил церковь Святой Софии и широко отстроил Киев, обвел его стеной с Золотыми воротами. Стала при нем вера христианская плодиться и расширяться...

Добрыня, слушавший со вниманием, ткнул боярина кулаком в бок. Тот похрапывал, свесив на грудь голову.

– Вот за что я на тебя в обиде, Нестор, – спросонья брякнул Душило. – Для чего ты меня осрамил в летописце? На весь свет повестил, как я к ходил к колдуну-чудину и потерял у него свой крест. Хорошо хоть про потерянный меч не заикнулся. Да еще новгородцем меня обозвал!

– Твоего имени я Никону не открыл, – добродушно ответил книжник. – Он и решил, что то был некий новгородец.

Душило опять уронил голову и всхрипнул.

– Отец, – гулко позвал Добрыня, – крести меня. Хочу, чтобы и на мне ваша вера расширилась. И бороды волхвам выдирать тоже хочу.

Нестор обернулся к поповичу, строго посмотрел.

– Почему не объяснил ему, что христианская вера не в выдирании бород язычникам?

– Это он шутит, отче. – Олекса украдкой показал Медведю кулак. – А так он понятливый. Хоть и зверообразный.

...Лесные птицы галдели на разные голоса так оглушительно, что казалось – и они дивятся совершающемуся. В быстром ключе, звеневшем у самой стены монастыря, трижды окунали великих размеров детину, одетого лишь в собственную шерсть. Творили таинство игумен обители и Нестор, имевший сан дьякона. Он же стал крестным отцом. В зрителях поодаль стояли боярин с поповичем. Олекса загодя объяснил Медведю, что христиане называют Велеса сатаной. Потому на требование плюнуть в сатану, отрекаясь от него и всех его дел, Добрыня трижды харкнул так смачно, будто перед ним впрямь стоял кумир скотьего бога.

Окрещенному нарекли царское имя Василий, которое на Руси носили уже не одни лишь князья.

– Тезкой будет Мономаху, – одобрил Душило. – А дубину свою пусть в лесу оставит. В Киеве народ остряк, до смерти засмеют.

Собрались в дорогу лишь к полудню. Нестор долго уминал пергамены в торбах, еще дольше лобызал монастырскую братию. Олекса, буйно размахивая руками, возглашал на весь двор:

– И влез он в святую купель, и родился от Духа и воды, в Христа крестившись, в Христа облачился; и вышел из купели, обеленный, сыном став нетления, сыном воскрешения, имя приняв навечно именитое из рода в род – Василий. Под ним же записан он в книге жизни в вышнем граде, в нетленном Иерусалиме.

– Ты чего? – притянул его за рубаху Добрыня.

– Это митрополит Иларион о князе Владимире, крестителе Руси, – смеялся Олекса.

– А, – сказал Медведь, мало что поняв. – А чего радостный?

– Так ведь сказано же: «Отвративший язычника от заблуждения его спасет душу свою от смерти и покроет множество грехов». А мне надо много грехов покрыть. Считай, половину снял через твоё отвращение от идольского суеверия.

Добрыня достал из торока солнечный камень с навозником внутри и нацепил на шею. Олексе не понравилось.

– Да сними эту срамоту.

– Это от матери, – объяснил Добрыня.

Нестор тоже пригляделся к камню, собрал лоб в морщины.

– Будто бы я такой уже видел когда-то.

Перед тем как сесть на коня, монах низко поклонился обители.

– Мир этому дому. Поеду к другому.

Сто тридцать верст до Киева одолели быстро, время в разговорах пролетело вскачь. На полпути заехали в родной город Душила – Моровийск. Тут приступили к Добрыне вдвоем и

уговорили-таки бросить дубину, повесить на пояс приличествующую палицу. Здесь же приоделись. Олекса купил себе на торгу красные яловые сапоги, шапку с короткой опушкой и небесно-синий аксамитовый плащ. Медведю он добыл суконные порты, лазоревую рубаху и летнюю свиту с мелкотравчатым узором – едва сыскал нужной величины. Сверху положил тафтяную шапку. Сказал при том, что в звериных шкурах его и на двор к князю не пустят. Добрыня тоскливо покорился.

К Киеву подъезжали со стороны Лысой горы. Беленые стены с высокими башнями-стрельнями и издалека горящие солнцем купола Софии медленно выростали перед глазами. У разветвления дороги, поснимав шапки, путники дружно перекрестились. Добрыня старательно повторил – учился не путать, с какого плеча класть поперечину.

– Ну, – сказал Душило, – вижу, что убеждать вас ехать со мной дальше – напрасное дело.

Олекса покивал, оцепенело пожирая глазами величественный град.

– Напрасный.

– Ну так, прощайте, храбры. Когда надоест вам в Киеве, перебирайтесь в Переяславль.

– Почему мне надоест в Киеве? – недоумевал попович, не отрываясь от зрелища.

Душило развернул коня, подъехал ближе к нему. Глаза в глаза сказал:

– Князь – за всех людей ответчик. А не за одну дружину и казну. Потому.

Оставшись вдвоем, Олекса и Добрыня направили коней к городу.

– Прощай, отче Нестор! – крикнул попович. – Готовь для меня листы в своем летописце!

19

Киев оглушал величиной, обильем церквей, людей, мощных улиц и шумом, какой в Ростове или Ярославле стоит лишь на торжище – а здесь им полнилась каждая большая улица. Конная сторожа, дружинники, купцы с груженными возами, парубки и холопы, бабы с корзинами, женки из нарочитой чади с челядью, боярышни со свитами нянек-кормилок, попы и чернецы, иноземные торговцы, паломники, калики перехожие, нищие побродяги, варяги, армяне, хазары, болгары, греки, сарацины, латиняне – все вносили свою долю в шумное многоречие и разноликую суету стольного града.

Добрыня с непривычки стал угрюм более обычного. Олексе не хватало глаз, чтобы увидеть все и сразу: снаряжение княжских отроков, красу девок, хоромы житых людей, украшения храмов, вдалеке – княжью Гору с венцом белых стен.

– Нам туда. – Олекса величаво махнул в направлении Горы.

Шуму впереди прибавилось. Попович привстал в седле, разглядывая столпотворение в конце широкой улицы. Было много конных, раздавались мерные удары дерева о дерево, множество криков сливались в один раздраженный вопль. Вблизи дело чуть прояснилось: дружинники вышибали бревном ворота небедного двора и отгесняли зло напиравшую толпу горожан. Однако понять, что происходит, все равно было сложно. В гуще градских людей тоже затесались конные, но безоружные, в лучшем случае с засапожными ножами. Кмети махали перед ними мечами, кулаками, сапогами отпихивали пеших. Над тыном показывались головы дворских отроков в шлемах. Выкрикнув брань и угрозы, прятались, чтоб княжьи люди не отмахнули мечом нос.

– Весело живет Киев, – дивился Олекса.

Из криков наконец стало ясно, что дружинники хотят взять на поток и разграбление какого-то Микульчу, а градские люди против этого.

Ворота затрещали, одна створка сошла с петель. Кмети бросили бревно и снесли ворота натиском. Во дворе началась драка. Часть дружины осталась на улице, воюя с горожанами. Тут из проулка появился еще один отряд конных. Во главе его, спокойно рассекая конем толпу, ехал белобородый старец. Людей у него было немного, но каждый при оружии.

– Что творишь, Наслав Коснячич? – выкрикнул он, надсаживая голос. – По какому закону грабишь со своими псами дворы сотских?

– По княжьему закону, Янь Вышатич, – проревел в ответ старший дружинник, командовавший кметями. – Знаешь такой закон?

Олекса пнул сапогом ногу Добрыни, кивком показал на знаменитого тысяцкого.

– Не знаю и знать не хочу! В чем виновен Микульча?

– В том, что не делится именем с князем, и в том, что он не нравится мне! И другие сотские в том же виновны.

Янь Вышатич замешкался от такой откровенности. Градские люди взвыли от возмущения и сильнее надели на дружинников.

– Микульча служит под моим началом, и не тебе решать, нравится он или не нравится!

– А ты более не тысяцкий, старик! Хватит, на покой пора, а то за тобой рабу с посудиною ходить надо – песок собирать.

– Сам ты пес, Вышатич! – гаркнул кто-то из дружинных.

– Поди прочь со своей общипанной тысячей!

Старый боярин, гневно покрасневшийся, пропустил поношения мимо ушей.

– Не тысяцкий? – громко переспросил он. – И я слышу об этом не от князя, а от его холопа?

– Ты слышишь это от меня, княжого мужа и нового киевского тысяцкого! – рявкнул Наслав Коснячич, разъяренный оскорблением. – И радуйся, что не могу добраться до твоего двора, пока князь не велит. А то, может, сам окажешься в холопах!

Оружные конники городского отряда, не стерпев, ринулись на дружинников. Пешая толпа стремительно шарахнулась в стороны, потоптав упавших. Мечи скрестились и пошли звенеть. Им помогали кулаки, отвешивая крепкие оплеухи. Кони ржали, сшибаясь мордами и крупами, поднимались на дыбы. Поверх всего стояла свирепая брань, густо извергаемая глотками. Олекса и Добрыня, оказавшись в кольце безоружных горожан, удрученно наблюдали. Янь Вышатич пытался остановить своих людей, но его не слышали.

Из того же проулка вылетели несколько всадников и сходу врубались в драку.

– Наслав! – разъяренно прокричал один. – Поромона убили! У двора сотского Якима черни поболее, чем здесь. Кистенем с коня сняли и ножами покромсали! Сейчас там сотня Васяты людишек разгоняет.

Новый тысяцкий, до того в бойню не лезший, с лютой руганью скакнул к градскому ратнику, со спины глубоко разворотил ему мечом тулово.

– На княжью дружину руки поднимать, смерды! – прорычал он, ища глазами следующую жертву. – В своей крови утопнете!

Весть о гибели дружинника всколыхнула и толпу горожан. Одни подняли к небу благодарные вопли. Другие мрачно пророчили:

– Младшие Кольвановичи своего брательника без отмщения не оставят. Отольется Киеву эта кровь.

Люди стали торопливо разбредаться. Многие пустились бежать. Их подгонял яростными криками Янь Вышатич:

– Уходите! Расходитесь по дворам! Нечего глазеть, а то и вам перепадет!

Олекса вставил в рот два пальца, испустил пронзительный свист.

– Берегись! – орал попович, наседая на толпу конем. – Кому сказано – расходишь!

Ни дружинники, ни градские ратники не могли пересилить противника. На мостовой под копытами лежало с десяток убитых, еще трое свисали с седел метавшихся коней. Между тем из поломаных ворот повалили кметы, сломившие сопротивление сотского Микульчи и его отроков. Под их натиском градские стали отступать. На каждого теперь приходилось по трое дружинников. Янь Вышатич в отчаянии бросился своим на помощь. Сил у старика было меньше, чем у верзил-отроков, но хватило, чтобы несложным приемом вышибить из седла ближайшего конного. Разозленные дружинники тут же надели на старого боярина.

На голову одного из них рухнул удар булавы, свалив с коня.

– Ну-кошь, отец, подвинься.

Добрыня, долго решавший, на какой стороне ему быть, оттер старика от его противников. Меча он не имел – в Ярославле не привык к этому оружию, а в лесу оно подавно ни к чему. Но булава отбивала удары не хуже, а руки у Медведя были длинные.

– Откуда такая образина? – заржали кметы, впятером обступив его.

Краем глаза Добрыня видел, как Янь Вышатич уводит остатки городского отряда. Дружинники улюлюкали им вслед, но вдогон не поскакали. От толпы пеших на улице не осталось ни единого человека. Олекса тоже запропастился.

Медведь легонько рыкнул, сведя кустистые брови.

– Ого, да он пугает! – насмеялись отроки.

Бить их Добрыне расхотелось. Из дружинников тоже никто не решался первым попытать удачу.

– Это что за... такое?! – подъехал новый тысяцкий. – Ты кто таков?

Пока Добрыня думал, отвечать или нет, из разгромленного двора вывели пинками сотского Микульчу с разбитым лицом и нескольких его окровавленных отроков. Следом вытолкали выводок ревущих навзрыд баб и девок. Наслав Коснячич отвлекся от Добрыни.

– Сотского в поруб на Киселевке, холопов на торг, остальных гнать из города, – распорядился он. – Все имение князю.

Бабы взвыли громче. Жена Микульчи кинулась мужу на грудь. Ее оторвали и швырнули на бревна мостовой.

– Петрок, головой отвечаешь за все добро, что в доме и на дворе. Чтоб ни одна куна не сплыла! Свою долю все потом получают.

– Исполню, боярин! – весело крикнул дружинник.

Тысяцкий вернулся к отрокам, караулившим Медведя.

– Говорить научен? – спросил он Добрыню. – Экая гора зверины.

– Вроде чего-то вякал, – сказали кмети.

Добрыня показал зубы и шевельнулся в седле.

– Но-но, бычара! – с опаской смеялись отроки.

– Я к князю, – грозно пророкотал Медведь. – Рядиться в дружину. До вас мне нет дела.

– Аж к самому кня-азю? – захохотали вокруг.

– А что в тороках везешь? – Дружинник стукнул ногой по мешку с серебром. Металл брякнул, мгновенно заорожив всех.

– Мое дело, – ощерился Добрыня.

– Коль в дружину хочешь, человекче, то твои дела – наши дела, – изрек тысяцкий, вдруг подобрев. – Дубинку-то убери, тут ведь все свои. И вы тоже – мечи в ножны, – велел он отрокам. – Не видите – добрый витязь перед вами.

Отроки, ухмыляясь, последовали приказу. Добрыня, подождав, подцепил ремень булавы к поясу.

– Ну, теперь можно и поговорить, – елейно продолжал Наслав Коснячич. – А ведомо ли тебе, витязь, что так просто в княжью дружину не попасть? Князь Святополк Изяславич абы кого к себе не берет. Надо пройти испытание. А его не всякий выдержит.

– Говори какое.

– Так сразу тебе и скажи, – усмехнулся боярин. – Сперва на княж двор поедем.

Сотского Микульчу и его домочадцев уже увели. Часть дружинников осталась сторожить двор. Остальные двинулись к княжьей Горе. Впереди ехал новый тысяцкий, Добрыню спереди и сзади окружали отроки. Миновали купеческие и ремесленные усадьбы Копырева конца. Чуть поодаль начались боярские дворы с затейливыми теремами, видными из-за глухих высоких тынов, с обширными хозяйственными и жилыми клетями. Ворота каждой усадьбы отделаны по-особому, на вкус хозяев – с резными ангелками, с петушками и китоврасами, со змееголовыми чудищами, с деревянными головами домовых духов, насаженными поверху.

Одной длинной и широкой улицей доехали до ворот в городьбе, окружавшей княжью Гору. Недалеко от Бабина торгового тысяцкий свернул к Васильевской церкви. Место было знаменито среди киевлян тем, что здесь четверть столетия назад томился в порубе полоцкий князь Всеслав. Потом взбунтовавшая чернь развалила топорами темницу и вознесла Всеслава на киевский стол. А над ямой позже поставили новый сруб. К нему и привели Добрыню.

Пошептавшись с двумя кметями, Наслав Коснячич обратился к Медведю:

– Испытаний два, но первое может показаться тебе простым. Слезай-ка с коня.

Пока он это говорил, отроки откинули дверцу на скате поруба.

– Это дыра подземного лаза, – быстро сказал тысяцкий. – Тебе нужно пройти по нему. Там и обрящешь первое испытание.

– Куда ведет лаз? – спросил Добрыня, заглянув в яму и принявшись. О подземных пещерах, тянувшихся во тьме и глубине на многие версты, он знал. На вход в одну такую

наткнулся однажды в расщелине лесной горы. Волхвы говорили, что эти ходы роет под землей Велес и не человеческого ума дело – выznавать, для чего они богу и куда ведут.

– Узнаешь, когда выйдешь.

– Ладно, – согласился Добрыня.

Он вернулся к коню, отвязал мешок с серебром и прикрепил на пояс. Ремень сильно обвис от тяжести.

– Будет мешать, – попытался отговорить боярин.

– Мое дело, – угрюмо повторил Медведь.

Кожаный торок с головой Соловейки он бросил тысяцкому.

– Если что со мной – отдай князю.

Добрыня подошел к порубу, встал на порог и, старательно перекрестившись, ухнул вниз. Отроки тотчас захлопнули дверцу, наложили прочные запоры.

– Попался, зверь.

– А серебришко-то у него осталось, – разочарованно протянул кто-то.

– Захочет выйти – отдаст, – самодовольно молвил Наслав Коснячич. – Виру за битую голову Острата им заплатит.

Кмети засмеялись шутке. Тысяцкий положил на землю торок, ослабил затяжку и сунул внутрь руку. Вдруг, извергнув проклятье, отскочил, повалился на бок, стал бешено тереть ладонь о землю. Из мешка шла тяжелая смрадная вонь. Отроки, затыкая носы, рассматривали мертвую голову.

– Ну и зачем это князю? – гадали.

Из поруба донесся рев, от которого задрожали бревна:

– Обманули!!!

Хохотать у дружинников пропала охота.

20

Засапожный нож – не лопата, копать им землю – много не наработаешь. Добрыня кромсал жесткий суглинок без продыху. Нож затупился, теперь им даже волосину не разрезать. Сверху через щель пробивалась тонкая паутинка света – единственная радость. В пустом брюхе будто поселился злой зверь и жадно терзал внутренности. Дверь поруба за день и ночь ни разу не открылась.

Добрыня зажал нож зубами и с глухим рыком принялся скрести землю руками. Обе ноги в распор упирались на разной высоте в уже вырытые выемки на углу ямы. Еще три таких ступени – и он доберется до основания сруба. Обкопать нижнее бревно будет проще, если не сломается нож.

Он перестал рыть и прислушался. За все это время человеческого присутствия наверху Добрыня не чувствовал. Но сейчас возле поруба кто-то стоял. Медведь спрыгнул на дно и привычно, как в лесной глуши, затаился. Лязгнули запоры, отворилась дверь. В проеме стоял, наклонясь, Олекса.

– Не надоело тебе в ямах сидеть, брат крестовый?

На дно спустилась лестница. Добрыня, подхватив мешок с серебром, взлетел по ней, как рысь на дерево.

– Не стоит благодарности, – отмел все излишества попович, хотя Медведь и рта не раскрыл. – Теперь мы с тобой квиты.

Добрыня вопросительно промычал.

– За то, что сразу не вытащил меня из ямы у бойников, – мстительно объяснил Олекса и радостно облапил Медведа.

Холоп, в трепете тарачившийся на великана, как на страшное диво, вытянул лестницу, запер поруб. Добрыня вслед за поповичем взгромоздился на коня.

– Где взял?

– В княжьих конюшнях, – с гордостью ответил попович. – Едем, по дороге расскажу.

Но сперва говорить пришлось Медведю. Много работать языком он не любил, потому вся история с пленением в порубе уместилась в несколько слов.

– Ну, считай, это и было первое испытание, – подытожил Олекса, хрюкнув от смеха.

– Твой черед, – проворчал Добрыня. – Ты куда подевался вчера?

– Ну, я же знал, что тебя потянет в драку. Из нас двоих кто-то должен думать. Эту задачу я взял на себя. Кто бы спас тебя, если бы я не избежал соблазна помахать мечом? И кто бы молвил за нас слово перед князем, если бы мы оба сшиблись с его дружинниками?..

– За молодой на улице увязался, – взглянув на него, определил Добрыня.

– Одно другому не мешает, – не смутился Олекса. – Словом, я пошел к князю и все устроил. Теперь мы в его дружине. Не спрашивай, чего мне это стоило. – Он помолчал, ожидая вопроса. Не дождался. – Впрочем, если спросишь, отвечу: на это пошло все мое серебро. Князю нужно серебро, – с неясной грустью добавил он.

– Я отдам тебе свое, – пообещал Медведь.

– У тебя нет серебра. Твое я тоже отдал князю.

Добрыня недоверчиво потрогал мешок.

– Да-да, – подтвердил попович, – воля в Киеве нынче дорога. В следующий раз не попадай в поруб.

Они въехали на площадь Бабина торга и мимо княжьих хором направились к дружинному подворью. Полсотни отроков с обнаженными торсами упражнялись на дворе в рубке мечами и топорами. Сквозь лязг оружия разлетались крики десятников, обучавших молодежь. Олекса и Добрыня спешили, холопы тотчас увели коней.

На крыльце молодежной сидел, поджидая, княжий ключник. Завидев новоприбывших, он небыстрым шагом потащился к ним. Следом топали двое челядинов.

– Отдай ему серебро, – равнодушно бросил Олекса.

Добрыня отвязал мешок от пояса, кинул холопам. Ключник без слов поволокся далее, к одному из трех княжских теремов. Следом к ним подошел десятник, немолодой воин с половиной левого уха и ленцой в глазах.

– Я Мал. Будете в моем десятке.

Он оценивающе оглядел Добрыню. Дернул ноздрями.

– Мечом владеешь?

Медведь издал раскатистый звук – не то кашлянул, не то проворчал неразборчиво.

– Научим, – осклабился Мал. – И говорить научим. А замашки свои забудь. – Он наставил длинный палец с черным ногтем на Добрыню. – Ты теперь – младший отрок. Зеленее не бывает.

Медведь с вопросом посмотрел на поповича.

– Извини, – процедил тот, отводя глаза. – Надо было везти сюда все Соловейкино серебро, чтобы попасть в старшую дружину.

...Ключник с двумя холопами спустился в теремные подклети. Сегодня здесь весь день кипела работа. Княжье казнохранилище заполняли ларями, скрынями и мешками с деревянными замками, свезенными со дворов сотских Микульчи и Якима. Именья было немало, но еще более добра пошло на торг, чтобы обернуться гривнами золота и серебра, а затем быть схороненным здесь же, в казне.

Каждый ларь и мешок проверял тиун, сразу диктовал писцу, сколько, чего и где размещено. За тиуном по пятам ходил князь Святополк Изяславич. Зорко следил, вытягивал шею, заглядывая в сундуки, запуская длинные руки в мягкую рухлядь – любовно ощупывал меха. Тут же отдавал распоряжения – что перелить в слитки, что припрятать подальше, что почистить.

– Серебро, князь, от новых отроков, – доложил ключник.

Святополк окунул руки в развязанный мешок, сладко позвенел лунным металлом. Остался доволен. Утомленный за день, побрел к себе в покои. Велел накрывать вечернюю трапезу. Рот уже наполнился слюной, предвкушая яства, когда в палату царственной походкой вплыла княгиня Гертруда.

– Сын мой, – начала она любезным голосом, от которого Святополк закашлялся, захлебнувшись голодной слюной. – Неразумно столько времени проводить среди челяди. Для призора за именем есть ключник и тиун.

– Не вмешивайся в мои дела, матушка, – вежливо огрызнулся князь.

– Видно, Господь дал мне такой крест, – в голосе старой княгини зазвенели стальные нотки, – быть женой и матерью князей, в чьи дела, глядя на их неблагоразумие, приходится вмешиваться слабой женщине. Святополк! Послушай меня...

Князь показным жестом прикрыл уши. На лице Гертруды проступил гневный румянец. Но быстро взяв себя в руки, она заговорила со спокойной грустью:

– Вот так же и муж мой Изяслав, и сын Ярополк закрывали от меня свой слух и разум. Я молила Господа услышать стон моего сердца, избавить от мучений, горести и зла, которые обрушились на меня и моего мужа из-за его нежелания выслушивать мои советы. Я обращала к Всевышнему мольбы и о сыне, чтобы Господь внушил ему истинные чувства, твердую надежду и совершенную любовь. Но если человек сам не желает, ему не поможет и Бог. – Княгиня со скорбью в лице опустилась на кресло-скамью с мягким сиденьем. – Изяслав, дважды изгнанный из Киева, бесприютно скитался по чужим странам, тщетно прося помощи у их правителей. Ярополк, погрязавший в пучине пьянства, гордыни, алчности и многих иных пороков, в конце концов стал посмешищем для всех, затеяв глупую войну с киевским князем! – Гертруда

помолчала, собираясь с силами. – И я, испытав весь позор изгнания и пленения, не позволю тебе, мой младший сын, повторить ту же судьбу, принести мне те же муки и страдания.

– Матушка, – Святополк снисходительно развел руками, – все это бабьи слезы. Мужу недостойно покоряться им.

– Подойди ко мне, сын, – слабым голосом попросила Гертруда.

Князь, помешкав, приблизился к ее креслу.

– Наклонись, уважь мою старость.

Сухая ладонь княгини, приложившись к щеке Святополка, извлекла из нее громкий звон.

– Это – не бабьи слезы, – твердо произнесла она. – Это материнское наставление. А теперь сядь и раскрой шире уши.

Князя, словно неведомой силой, швырнуло обратно. Упав на кресло, он в злой растерянности уставился на мать.

– Без промедления удали из Киева братьев Кольвановичей. Иначе не миновать беды. Они будут мстить градским людям за смерть своего старшего и прольют гораздо больше крови, чем вытекло из него. Твоя дружина уже обагрила кровью улицы Киева. Я хочу спросить тебя, Святополк: кто ты – великий князь, наследовавший своему отцу и деду, или разбойник, силой захвативший город?

– Я – князь, – гордо ответил сын. – Но запомнят они меня как мстителя за поправленную справедливость! В «Русской правде» сказано: мстит сын за отца.

– Кровная месть на Руси отменена твоим отцом и дядьями! – воскликнула княгиня.

– Они заменили кровную месть вирами, – коварно улыбнулся Святополк. – И я беру с Киева виру. Ты не можешь упрекнуть меня в нарушении закона, матушка.

– Изгони Кольвановичей, – прошелестела губами Гертруда, словно враз обессилев. – Изгони их из дружины. Пускай идут куда хотят. Заплати им за погибшего брата. Горожане увидят твою добрую волю в этом поступке и не станут распалаться на тебя.

– Хорошо, матушка, – с усилием выдавил князь. – Я прогоню их. – По губам его вдруг проскочила недобрая улыбка. – Я пошлю Кольвановичей к Мономаху. Пускай послужат мне в его дружине.

– Славно придумано, сын мой, – рассеянно произнесла княгиня, помышляя о чем-то ином.

– Что еще посоветуешь, матушка? – усмехнулся Святополк, пристально глядя на нее.

– Тебе стоит завести отношения с теми, кто дает золото и серебро в рост.

– С жидами? – от неожиданности князь привстал.

– Лихву берут не одни жида. Наша нарочитая чадь учится у них. Используй и тех, и других.

– Как? – не понимал он. Однако наживку заглотил глубоко.

– Вели им отдавать тебе часть прибыли. Обложи мытом это богомерзкое дело. А градских людей больше не грабь. Они не простят тебе этого, и когда тебе понадобится помощь Киева – они скажут, что не хотят тебя знать. Помни это, сын.

– Овцы будут целы и я сыт? – в плотоядных грезах улыбнулся Святополк. – Матушка, ты – само милосердие. Я исполню твой совет. Градские более не потерпят от меня урона... если только не разгневают меня чем-либо. Но бояре... Ведь остаются еще старые киевские бояре, матушка. Их я не стану жалеть!

– Устала я что-то, – пробормотала старая княгиня, едва слушая его.

Она смежила очи. Святополк тихо подошел к матери и поцеловал высокий, почти без морщин лоб. Засмотрелся на выбившуюся из-под убруса седую прядку, от вида которой его душу затопили нежность и сыновняя преданность.

– Ради твоего покоя, матушка, я не стану жалеть их. Я буду холить и лелеять твою старость, и ты не познаешь более унижения.

21

Два возка с наваленным добром – одежей и утварью – все, что удалось забрать с собой. Прочее имение, копившееся многими годами на княжьей службе, в одночасье князю и отошло. Двор с полными амбарами, житницами, медушей, конюшной, молодечной, хоромы двухъярусные с повалушей, в ларях – меха, цветные паволоки, книги, золотая и серебряная посуда, бабья златокузнь, греческие и сарацинские доспехи, богатое оружие, коней, челядь – все отнял разгоревшийся местью Святополк Изяславич.

Князьи отроки провожали возки ограбленного боярина до самых Лядских ворот. На смех оставили старому Воротиславу Микуличу единственного холопа, кривого на один глаз, правившего вторым возком. На коне переднего сидел дворский отрок. Еще несколько отроков, не пожелавших расстаться с боярином, шли пешком, исподлобья угрюмились на дружинников. Те ради срамного веселья творили над изгнанным боярином посмехи: не нажил-де в Киеве иного состояния, кроме старухи-женки и кривого раба, попытай-де счастья в иных местах, авось где сыщется служба поприбыльнее. К кесарю-де цареградскому неплохо бы податься, уж он озолотит да в палатах каменных приютит, а боярской старухе любовь окажет.

Воротиславу Микуличу слышать это поношение было нестерпимо больно, но он терпел молча. И своим отрокам велел не лаяться бестолку с княжьими кметями. Только на жену взглядывал виновато. Агафья, обхватив голову руками, ничего не слыша и не видя, тонко подвывала. Из-под плата вылезли седые волосья, трепались на ветру. Слава богу, из детей никто не жил с ними – сыновья кто в земле лежит, кто свою долю в иных землях ищет, дочери при мужьях.

Когда Киев остался позади и похабства дружинников уже не стояли в ушах, Воротислав Микулич сошел с возка и долго крестился. Не на церковь даже – на белую городскую стену, на свод каменных ворот со стрельней поверху.

– Что ж будет-то теперь? – опомнилась Агафья, поводя диким взором окрест.

– Молчи, жена, – сурово молвил боярин. – Волю Божью зря не пытай. Что сбудется – то и сладится.

– На ночь бы куда пристроиться, боярин, – сказали отроки. – В Берестовом вряд ли под кровлю пустят. Разве на Выдубичах попроситься?

– К Феодосьевым чернецам сперва, – распорядился Воротислав Микулич. – Монахи призрят на изгоев.

Небо вечерело. Справа от дороги темнели убранные житные поля с одинокими снопиками – смерды повсюду еще почитали скотьего бога Велеса, одаривали последними колосьями.

– Гляди-ко, – подивился кто-то из отроков, – жито летом саранча пожрала, а божку его часть все равно идет.

– Плетью обуха не перешибешь, – откликнулся другой, носивший у пояса обереги от злых духов.

В сумерках проехали без остановки княжье село Берестовое и вскоре стучались в монастырские врата.

– Кого это припозднило? – осведомился вратарник, уже засыпавший в своей клети-келье.

– Рабов Божьих, гонимых людьми, – смиренно ответил Воротислав Микулич.

Монах отпер ворота. Приглядевшись, узнал киевского боярина, много раз благоволившего обители щедрыми дарами-поминками, а теперь явившегося едва не голым.

– Христе Боже!.. – Рука застывшего в изумлении чернеца сама потянулась ко лбу для знамения. – Черны нынче дела на белом свете.

Возки въехали в обитель. Опамятовав, вратарник зачистил:

– Повечерницу давно отслужили, отец игумен перед полуношницей дремлет. Побегу разбужу, раз такая беда.

Спустя недолгое время неожиданных гостей обустроили. Накормили в трапезной хлебом с кашей, медом и квасом, отроков и холопа отправили на богадельное подворье при обители, боярина с женой проводили в странноприимный дом. Игумен Иоанн вопросами пытать до утра не стал, ограничился кратким утешением:

– И Сын Божий не имел на земле где голову приклонить. А князей на Руси много – примут тебя, не отвергнут. И имение заново наживешь, боярин.

С рассветом Воротислав Микулич молился посреди монахов в церкви: истово клал поклоны, громко тянул тропари и псалмы, с трепетом облобызал большую икону Богородицы, земно поклонился мощам блаженного Феодосия. Монастырские насельники, глядя на его рвение, возносили и от себя прошения о гонимом боярине.

После утренней трапезы настоятель беседовал с Воротиславом Микуличем в своей келье. Подробно расспрашивал, печалился, скорбно ужасался, слыша о бесчестьях. Вновь утешил боярина, на сей раз пространно.

– Как масло на раны, отче, твои слова, – вздохнул княж муж. – Однако Господь справедлив. Знаю, за что терплю. Давно ожидал от Святополка подобного деяния. Ты, может, и не ведаешь, отче игумен, что я предал его отца, князя Изяслава. Служил ему верой и правдой, а когда на него ополчились его же братья и пришли к Киеву, я рассудил, что Изяславу не сидеть более на великом столе. Загодя ушел от него к князю Святославу. Тот занял Киев, а я остался в дружине нового киевского князя. И тому тоже служил верно. Затем князю Всеволоду дружинный долг отдал. Тут-то и расплата поспела.

Воротислав Микулич повесил на грудь голову с седой гривой.

– Куда идти на старости лет, не знаю. Без портов почитай из дому выставили. На телеге, без оружия, как смерд ехал, перед всем Киевом позорище. Над голым задом моим срамились младшие отроки!

Боярин прижал ладонь к лицу, короткое рыдание сотрясло могучие плечи старого воина.

– О бесславии не печалься. И Христа бесчестили, а нам и подавно за Ним идти, – сострадавая, сказал игумен. – Езжай, боярин, в Переяславль, к князю Мономаху. Служил его отцу, послужишь и сыну.

– Как смогу, отче, если год назад, когда помер старый князь, не возвысил свой голос за Владимира? – в отчаянии спросил боярин. – Думал ведь – соблюсти надо княжье право! – Губы его дрогнули в усмешке. – Эх, когда вспомнил о праве. Замарал молодец девке подол, позабыв сватов заслать... Ох, прости, отче, – повинулся он... – Вот оно как – поправное-то право восстанавливать. Горя хлебнешь!

– Хоть и горя хлебнешь, зато потом благодатью умоешься, – рек игумен. – Не думай, что князь Владимир отвернется от тебя. Ему нынче тоже не мед пить. Поезжай с богом.

Снаряжала боярина едва не половина обители. Нагрузили возок снедью в мешках, овсом для коней, подвязали сосуд со святой водой, еще одну телегу с конем дали для отроков, чтоб не били себе ноги. Монастырский ключник снабдил путников всем потребным в дороге – вервием, инструментом, лекарским запасом, калитой с двумя гривнами серебра. Воротислав Микулич, растроганно пустив слезу, обнялся со всей братией. Агафья как на чудо дивное взирала на игольницу с нитками, сунутую ей в руки сердобольным иноком. Повеселевшие отроки бодро выкатили возки за ворота.

– Ну, – молвил игумен, едва уехали изгнанники, – теперь и мне в путь.

– Далеко ль, отче? – всполошился келарь. – Надолго ль?

– Недалече – до Киева. Однако ж, – призадумался настоятель, – надолго иль нет – в том воля Бога и князя.

Оставив келаря разгадывать свои слова, игумен сходил в келью, накинул вотолю, взял посох. Благословив провожавших иноков, он вышел на дорогу к стольному граду.

– Новой беды бы не было, сохрани Господь, – бормотал келарь, крестясь.

Скорым и твердым шагом настоятель достиг после полудня ворот Киева. Длинной Лядской улицей дошел до Михайловой горы, оттуда уже и княжья Гора видна. Игумену после горячей молитвы в лад шагам помстилось, будто он одним махом одолел расстояние до Бабина торго. Здесь спросил у встречных дружинников, как найти князя.

– Пирует князь. Со старшей дружиной веселится, – ответили отроки не без зависти к старшим княжьим мужам.

Святополк Изяславич на пиры для младшей дружины скупился. Зато корчмы росли при нем в Киеве будто плесень на навозе. Там княжьим отрокам простор для веселого бражничанья. Только звон монет в кошельках от таких гудений пропадал надолго. После того как князь запретил дружинникам баловаться с градскими людьми, врываться во дворы простой чади с кличем «На поток и разграбление!», поясные калиты отроков пополнялись нечасто. Из княжьей казны вовсе не дождешься пожалований. Отец Святополка, Изяслав Ярославич, поговаривали в младшей дружине, такой же был. За то и Киева лишился, добавляли злые языки.

Игумен Иоанн взошел на крыльцо княжьего терема. Тут был остановлен gridями и допрошен. Отвечал смиренно, глядя в пол. Ждал, когда доложат князю. Посланный отрок вернулся на удивление скоро. Монаха чуть не под руки быстрым шагом препроводили в пировальную палату. От скоморошьего игралища, дробного стука трещоток и резких взвизгов сопелей у игумена засвербело в ушах, запестрело в глазах.

Князь Святополк взмахнул утиральником. Скоморохи застыли, онемели и расточились – залезли под столы, оттуда ловко тянули с блюд куски снеди.

– Помнишь, Наслав Коснячич, как ты сказывал мне остерегаться печерских монахов? – хмельно заговорил князь. – Не послушался я твоего совета – не боюсь их. Видишь, какой зверь ко мне пришел – сам печерский игумен! Ну, говори, начальник сквернописных монахов, чего хочешь?

Игумен не сводил глаз с краснолицего Святополка, словно не видел вокруг дружины, пьющей и жующей за столами.

– Милости твоей хочу, князь, – сказал он. – Сколь еще будешь творить разбой в граде, где княжишь волею Господа? Доколе будешь гнать неповинных и грабить верных ради своей ненасытной жадности? – монах возвысил голос. – Князю христианской земли не пристало мучить своих людей! Князь – глава земли, и если он делает зло, то еще большее зло насылает Бог на ту землю. Если не знаешь этого, князь Святополк, то я, игумен печерский, говорю тебе это. Не опомнишься и не покаешься – захиреет киевская земля, покроется язвами и засмердит гноем!

Даже скоморохи под столами перестали жевать и в страхе пялились на чернеца. Княжи мужи, порядком захмелевшие, были недовольны – зачем монах испортил веселье? У Святополка заалели даже уши.

– Бог праведный дает власть кому хочет, – медленно цедя слова, он руками рвал на блюде зажаренную дичь. – Ставит и князя, какого захочет. Тебе ли, чернец, не знать Писания. Устами Исайи-пророка сказал Бог: «И обидчика поставлю обладать ими»!

Князь расхохотался и запустил в игумена жирной гусиной ногой.

– Прочь, несчастный! Раскрой Писание и питай им свою безумную голову! Пшел! Пшел вон!

Второй кус дичи попал игумену в лицо. Дружинники затрясли со смеху бородами, подхватили княжью затею. Прицельно метали в монаха обгрызенные кости, начиненные желудки и кишки, не жалели добрых ломтей мяса, загребали руками и бросали лапшу или лосиные мозги из рассола, рушили пироги и обстреливали чернеца рассыпной начинкой. Боярин Петрила, раздухарившись, схватил корчагу, перегнулся через стол и плеснул в игумена медом. Галдеж стоял такой, что и скоморохи чесали в ушах. Из-под стола выкатился один, встал на четвереньки, гавкнул, подбежал к монаху. Задрал возле него ногу, постоял, вывалив по-пси-

ному язык. Бояре от хохота падали со скамей. Князь, довольный забавой, торжествовал победу над чернецом. Тот стоял, лишь прикрываясь рукой от летевших в голову подарков.

Святополк, поднатужась, перекричал шум:

– Что ждешь, дурак? Беги!

Но монах и не думал спастись бегством. Он стряхнул с рясы налипшие куски и вдруг поклонился – глубоко, в пояс.

– Благодарю, князь. Слава богу, сподобился и я бесчестия. Буду слезно молить о тебе Господа.

Он повернулся и не торопясь покинул палату. К куче набросанной снеди сейчас же кинулись скоморохи, затеяли драку за жирные куски. Князь в изумленье, с открытым ртом глядел в спину игумену. Когда тот скрылся из виду, Святополк скрипнул зубами:

– Не одолел я монаха.

Только тысяцкий Наслав Коснячич, сидевший поблизости, услышал его слова.

– Утоли душеньку, князь, – посоветовал он сладкоголосо. – Притесни чернеца.

Оглушенный звериным весельем в княжьем терему, игумен Иоанн добрел до ворот Бабина торго. Дружинные отроки, холопы, рядовичи и милостники глазели на него с великим интересом. Со смехом переглядывались, кричали вслед. За воротами он столкнулся с двумя конными из сторожи. Пошатнувшись, дал им дорогу. Озадаченные срамным видом монаха, облитого медом и жиром, со слипшейся бородой, они прервали разговор.

– Хмелю набрался на княжьем пиру, – укорил один.

– Похабен обычай – чернецов на пиры звать, – согласился другой.

Въехав на площадь, они продолжили беседу:

– Девку портить – великий грех. Ты у нее первый, с тебя у Бога и спрос более, чем со второго или с пятого. А мне для этого дела довольно и вдовицы.

– Жену бы завел.

– Не могу жену. Я всех баб люблю. Как выберу одну? А двух или трех женок в дому держать, как тут в обычае, мне срамно. Да и дома своего нет.

– Мне одной хватит. Да которая за меня пойдет?

– Которая – не знаю, а как выбрать, чтоб стоящая была, посоветую. Девку сперва проверить надо, будет ли верной. Позови ее ночью на сеновал. Придет – забудь о ней.

– Хитрый ты, Леший... О! Буду звать тебя Леший.

– Сам ты леший, Медведь, – захохотал попович.

Вечером в молодечную, где жили отроки, не имевшие родни в Киеве, пришел десятник Мал. Вызвал свой десяток, пальцем ткнул в четверых.

– На рассвете будьте готовы. Князь дело задал.

– Какое дело-то? – насторожился Олекса, не понаслышке знакомый с киевскими делами.

– Нынче тут шатался чернец в непотребном виде. – Мал ковырнул черным ногтем в зубах. – Так князь назначил ему за срам епитимью.

Два отрока из четверки сразу поскуучнели.

– Как назначил? – допытывался попович. – Князь не митрополит. Судить духовных не может.

– Митрополит далеко, князь близко, –дохнул на него кислой брагой десятник.

Наутро в белом тумане выехали из города. Крапал дождь, бередя душу неясной тоской. Олекса хотел было отказаться ехать за монахом, но Мал пригрозил изгнанием из дружины. Служба князю – не перечить, а исполнять.

Ворота монастыря стояли открытые – мирские богомольцы тянулись на службу. Мал и двое отроков въехали во двор на конях. Олекса спешил перед вратами и отбил три поклона. Глядя на него, Добрыня тоже спрыгнул на землю.

– Великая и славная обитель Печерская, – объяснил попович. – Не хрен в масле. По всей Руси отсюда епископы расходятся и книжность сияет.

Только что кончилась утренняя, монахи расходились по кельям до литургии. На конных дружинников посматривали с тревогой. Мал выкрикнул игумена. Двое послушников побежали за настоятелем к церкви. Чернецы, чуя беду, собирались толпой. Отроки, балуя, вынули мечи, но монахи почему-то не пугались. Явившемуся игумену Мал объявил:

– Князь Святополк отправляет тебя на покаяние. Скажи своим чернецам, чтоб готовили телегу.

Известие поразило братию, будто громом небесным. Иные возопили молитвы, несколько чернецов загородили собой игумена.

– Не бывало еще такого зла на Руси!

– Не было, так будет, – равнодушно бросил десятник.

– Остудите пыл, братия! – Игумен вышел вперед, протянул руки отрокам: – Вяжите, чада!

– Ты, отче, не заяц, не убежишь, – отрезал Мал.

Добрыня, никогда не выдавший сразу столько черноризцев, наблюдал за ними с любопытством. Когда который-нибудь проходил поблизости, он отодвигался, будто опасался задеть. Монахи казались ему забавными галчатами – выпрыгнули из гнезда и храбро щелкают клювами на обступивших волков. Он захотел сказать об этом Олексе, но тот опять куда-то исчез.

Попович тем временем, удивляясь обширности монастыря, забрел к кельям. Возле одной сидел на чурбаке монах. У ног стояла бадейка, куда он счищал с травы-лебеда зеленые гроздья семян. Рядом на расстеленном полотне возвышалась гора подсушенной лебеда.

– Вашего игумена силой увозят, а тебе, отче, будто невдомек, – молвил Олекса.

– Воздыхать о том я могу и здесь, а добавлять свои стенанья в общий хор – пустое дело, – ответил чернец. – Другое дело не терпит.

– Что это за дело, отче? – спросил Олекса, следя за ловкими и привычными движениями его рук.

– Жито запасаю на зиму. Голодно будет. Люди за хлебом пойдут в монастырь. Вот и будет им лебяжий хлеб.

– Лебеда горька, отче! – чуть было не рассмеялся попович. – Плеваться на твой хлеб станут.

– Зайди-ка в келью, возьми со стола краюшку.

Олекса пожал плечами, втиснулся в крохотную клеть, забрал невзрачный бурый хлебец, похожий на твердый ком земли.

– Отведай, окажи честь, – ласково попросил чернец.

Попович осторожно куснул корку, изрезанную трещинами. Недоверчиво с хрустом пожевал. Расплылся в улыбке.

– Сладок твой хлеб! И мягок во рту, будто впрямь лебяжий пух. В жизни не едал такого.

– Ну, ступай с богом к своим, – сказал монах. – Заждались там тебя.

– Прости, отче, что отнимаем у вас игумена, – с поклоном повинился Олекса. – Назови мне имя твое для памяти.

– Прохором нарекли. А кличут Лебедником.

Олекса вернулся на монастырский двор, где чернецы в великой печали прощались с игуменом. Мал нетерпеливо дергал длинный ус. Наконец ему надоела долгая череда слезных целований. Отроки по знаку без лишних слов приподняли настоятеля и сгрузили на телегу. На впряженного коня посадили монастырского работника.

– Куда вы его? – раздался вопль.

– Велено в Туров везти. Трогай!

Монахи унылой гурьбой высыпали за ворота.

– Бог милостив! – махнул им на прощанье игумен.

На обратной дороге Олекса вдумчиво грыз подаренный хлебец. Во рту было сладко, а в душе скреблись кошки. Подъехал Добрыня.

– Мнится мне, – промычал попович, – это и было второе наше испытание.

– Чернецы забавные, – как мог, утешал его Медведь.

В Киев вернулись только втроем. Двух отроков Мал снарядил с монахом до Турова, отчины князя Святополка.

22

Степь остывала и, впитывая в себя ночные холода, выцветала, становилась неприятной даже для родных ей кочевников. Половцы уходили далеко на полдень, в свои зимовища, и теперь не потревожат Русь до весны – а может, даст Бог, и весь год пройдет спокойно. С высоты на землю падал прощальный журавлиный клекот. Острые клинья стаи, будто резаками, вспарывали серую ткань неба.

Князь долго следил их величавый полет. Даже когда последние птицы исчезли вдали, все смотрел в небо, будто надеялся на что-то – невысказанное ни сердцем, ни умом. Он не прочь был бы тоже взмыть туда, ввысь, чтобы земные заботы стряхнулись с него, как крошки с одежды, и полететь за зовущими в путь журавлями. Мономах опустил голову, ощутив, как затекла шея. Никуда он не улетит от Руси. Все дороги, ведущие прочь от нее, к ней же и возвращаются – так говорили паломники, вернувшиеся из странствий к Святой земле. Русь крепко держит своих детей невидимой привязью. И заботы ее – хвори, печали, нужды – не к одежде цепляются, а врастают в душу.

– Поедем, князь? – тронул его Душило.

Мономах спустился из высокой стрельни на боевой ход стены. Оттуда по бревенчатому сходу сошел во двор крепостицы. Мимо вкопанных в землю котлов для вара, который во время боя лили на головы врагов, направился к башне-веже. Там ждала малая дружина, готовясь ехать далее.

На зиму в крепости оставалось лишь два десятка кметей, остальные на полгода покинули ее. Старый дружинник, под чьим дозором оставался град, доехал с князем до брода через Трубеж. Здесь расстались. Мономах на прощанье обнял седоусого воина.

– Голодный год будет. Продержитесь. На весну отроков пораньше пришлю – степняков надо рано ждать.

– Продержимся, князь. А половцев всяко не проспим – с Супоя дадут знать.

Дружина перешла реку и поскакала вдоль берега. По противоположной стороне до самого Переяславля тянулись укрепленные валы. В нескольких местах их прорезали крепостицы-заставы, уже проведенные князем.

В конце лета в Переяславль приезжали послы от половецких ханов Кури, Урусобы, Белдюза и Алтунопы. Их роды кочевали за порубежьем у Ворсклы. Если русский князь, говорили послы, не хочет, чтобы степняки переступали границы его владений и считали русские веси и грады своей добычей, нужно договориться о мире. Мономах согласился. Из княжьей казны в степь отправился обоз с драгоценной утварью, одежками, мехами, воском. Послы, передавая друг другу чашу вина, клялись от имени своих ханов и их сыновей не рушить дружбы с князем, не воевать его землю, не лить христианскую кровь. Но обещания степняков-язычников ненадежны, ибо клянутся они своими богами и духами, кои, как известно, лукавые бесы. Да и племенных князьцов-ханов, кроме этих, по Дикому полю кочует множество, на всех мира не напасешься. Потому и русским не зевать надо, а крепить, сколько возможно, оборону: едва схлынет водой снег, зорко глядеть в степь.

По приметам, ведомым только ему, Мономах высмотрел место, где нужно повернуть в сторону от Трубежа. Отряд помчался к Альте – речке, чье имя знакомо на Руси всякому. И если кто не помнил, где настигли убийцы святого князя Бориса, то уж о месте первого крупного разгрома сборной русской рати половцами четверть столетия назад слышали от отцов даже дети.

Катящее к земле солнце выбило в кудрях на лбу Мономаха бронзовую рыжину. Крылья гордого византийского носа, раздуваясь, ловили степной – ветер, праздного гуляку – когда

друга, а когда – врага. Вскоре вновь потянуло близкой водой. Альта сверкнула лучами красного светила.

В высокой прибрежной траве темнела одинокая человеческая фигура, странно низкая. Когда стало ясно, что человек стоит на коленях, досадное раздражение князя на незваного пришельца утихло. Место, где принял смертную муку святой страстотерпец Борис, располагало к тихим уединенным молитвам. Князь любил бывать здесь, внимать шепоту ветра и сладким грезам реки, вопрошать у неба судьбу и вести молчаливую беседу со своими сродниками, Борисом и Глебом, святыми покровителями Русской земли. Этой любовью ему было не жалко поделиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.